ВОРОВЬЕВ

Я

ВСПОМИНАЮ

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ГЖ75
В 837

Я

В. К. ВОРОБЬЕВ

ГЭЖ75
В837

ВСПОМИНАЮ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА

Г3(2)75
В 827

В. К. ВОРОБЬЕВ

9 (47)
В 75

Я ВСПОМИНАЮ...

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА — 1927 — ЛЕНИНГРАД

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 2006
К 1984

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Глава I. Типография „Дело". Провокатор Бродский. Первый арест 5
Глава II. В одиночке Крестов. Дни перед процессом . . . 17
Глава III. Суд. Заковка в кандалы 27
Глава IV. Петербургская пересыльная центральная тюрьма. Каторга. Камера № 16 36
Глава V. По этапам в ссылку 54
Глава VI. Ссылка 73
Глава VII. Побег. Возвращение в Россию. На нелегальном положении. Арест 79
Глава VIII. В Петербургском охранном отделении. Начальник охранки фон-Коттен. Предварилка 97
Глава IX. Каторга. Петербургский централ. Шлиссельбургская крепость 111
Глава X. Опять в ссылку 123
Глава XI. Побег в Якутск 142
Глава XII. Революция в Якутске 150

ГЭЖ75р
В837

Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. П. (б.)
1917 677 69

Типография „Искра Революции" Мосполиграф, Филиппповский, 11.

Главлит 89206. Тираж 4.000.

ПРЕДИСЛОВИЕ

События, о которых мне приходится говорить, происходили, в главной своей части, больше двадцати лет тому назад.

К сожалению, у меня не сохранились те записи, которые я вел на каторге и в ссылке. Большой срок, отделяющий меня от того времени, не позволил мне точно передать то настроение и те переживания, которыми было заполнено то прошлое, о котором я пишу.

Многое с тех пор забылось. Но наиболее важные этапы запомнились на всю жизнь. Некоторые факты прошлого сохранились в памяти с такой яркостью, как будто события происходили недавно.

Во всяком случае, я старался сохранять правдивость рассказа и умалчивать о непроверенных фактах.

Я хотел дать молодому революционному поколению хотя бы приблизительное представление об условиях революционной борьбы за тот строй, в котором они теперь живут.

Я буду счастлив, если эта цель будет достигнута хотя бы отчасти.

Автор

Глава I

ТИПОГРАФИЯ „ДЕЛО". ПРОВОКАТОР БРОДСКИЙ. ПЕРВЫЙ АРЕСТ

В 1906—1907 году мне пришлось, помимо обычной партийной работы, которую я вел в Московском районе и в военно-боевой организации большевиков, заняться, по поручению Петербургского Комитета, транспортировкой нелегальной литературы. Кроме меня, активное участие в этой работе принимал товарищ, известный под кличкой „Михаила Сергеевича".

Вся издававшаяся нелегальщина перевозилась нами на склады за Московской заставой или в ряд случайных мест.

На Сенном рынке я закупал партиями ящики из-под аптекарских товаров или резиновых галош. Упакованная в эти ящики нелегальщина сдавалась на вокзалах под видом аптекарских товаров и шла во все концы России. Время было тревожное. Охранка деятельно следила за подпольными работниками и производила много обысков и арестов.

Отправители нелегальщины часто „проваливались" и на вокзалах попадали в руки жандармерии.

Типография „Дело", в которой издавалась бо́льшая часть нелегальной литературы, существовала на вполне

легальном положении, хотя и была на сильном подозрении у охранников.

Шпики и агенты охранки все время сновали возле типографии, и на всякий случай, во избежание провала, возле „Дела“ устанавливалось наружное наблюдение из нескольких партийцев.

Как только наблюдающие замечали наряд полиции, тревожное известие передавалось по всей цепи наружной охраны и сообщалось печатникам. Набор и стереотипы для нелегальных изданий немедленно снимались с машин и бросались в котел, в котором уже кипел расплавленный свинец. Благодаря этим мерам предосторожности, типография просуществовала по тем временам довольно долго.

В этой же типографии печатался „Пролетарий“, издаваемый Петербургским Комитетом.

В ночь, когда печатался 12-й номер „Пролетария“, печатники чувствовали себя не совсем спокойно: вслед за шныряющими около типографии подозрительными личностями можно было ожидать и полицию.

Ночь прошла благополучно. „Пролетарий“ был отпечатан и упакован. На мою долю досталось перевезти тючок с пятью тысячами „Пролетария“.

По пути я чувствовал себя не совсем спокойно. В Казачьем переулке, когда я садился на лихача, появился околоточный и о чем-то вел переговоры с дворником.

От типографии я от'ехал без всяких приключений. Лихач погнал лошадь, и мы быстро свернули на Университетскую линию по Васильевскому острову. Я стал понемногу успокаиваться за исход порученного мне задания.

Солнечное, морозное, февральское утро было прекрасно. Извозчик погонял взмыленную лошадь и подковы подымали снежную пыль. Из саней я старался не пропустить по дороге шпиков и во-время учуять слежку.

Вдруг, на одном из поворотов, за моей спиной ясно послышался храп мчавшейся во весь опор лошади. Я оглянулся. Нас нагонял другой лихач. Минута колебания. Сомнений нет. Это погоня. Фигура седока слишком подозрительна. Тихо говорю своему извозчику: — погоняй! — Нас продолжают нагонять: морда задней лошади то отдаляется от меня, то неровный храп ее слышен тут же за спиной.

Кажется, еще несколько усилий, и мы избавимся от погони. Но преследующий меня шпик меняет тактику. Его лихач делает поворот, настигает нас, и вот уже сани мчатся бок-о-бок.

Шпик сделал стойку, точно лягавая, и улучив минуту, прыгнул ко мне в сани и навалился на меня. Инстинктивно я сделал несколько резких движений, и шпик полетел в сугроб снега.

Но его лихач уже успел соскочить с козел и схватить под уздцы лошадь, на которой я ехал. Пока шпик кряхтя поднимался, я, видя, что нелегальщину спасти не удастся, бросился бежать.

Бегал я в то время хорошо, но мне мешали валенки, а шпик был, очевидно, хорошо натренирован. Через несколько сажен он настиг меня и пытался задержать. После короткой возни он ковырнулся опять, но не унимался и снова продолжал меня преследовать.

Несколько раз ему удавалось настичь меня. Вцеплялся... но каждый раз неизменно летел на землю. Все же, тяжело дыша и хрипло ругаясь, шпик продолжал погоню.

Было около девяти часов утра. Немногочисленные прохожие, должно быть, с удивлением смотрели на это редкое даже для Петербурга зрелище. Дворники, сгребавшие снег с тротуаров, воткнув деревянные лопаты в сугробы снега, от души потешались над нашим соревнова-

нием в быстроте бега. Несмотря на крики шпика: „Держите! Ловите!..“—никто из дворников не сдвинулся с места. Кое-где, по направлению к университету, уже шли студенты (очевидно, академисты), спешившие попасть к началу лекций.

Я крикнул студентам, чтобы они отбили нелегальщину, но никто из них не пожелал, надо полагать, „ввязываться в историю“.

Таким образом, соревнование между мной и шпиком продолжалось без чьего бы то ни было вмешательства.

Приближалось здание университета. Шпик, будучи уверен, что я в нем скроюсь, изловчился и прыгнул мне на спину. Крепко вцепившись в меня руками и ногами, он проехался на моей спине до университета. Не обращая внимания на неприятного седока, я подбежал к университетским дверям и слегка приоткрыл их. Протискиваясь сквозь узкую щель отворяемых дверей, я прищемил повисшего на мне шпика. Он завопил и отвалился, Пока я стремительно летел по бесконечным коридорам и лестницам, он бессильно бесновался и спорил с университетскими сторожами.

В ту пору „куцой конституции“ университет пользовался автономными правами, и в его стенах я для шпика был особой „неприкосновенной“.

* * *

Перед разгоном II Государственной Думы реакция все усиливалась, и дни пребывания на воле членов военно-боевой организации были уже сочтены.

Военную организацию, так же как и Петербургский Комитет большевиков, провалил провокатор Бродский.

Он появился в Петербурге в конце 1906 года. Студент-южанин, неразлучный с Бродским, познакомил меня

с ним в университетской столовой. О себе Бродский рассказывал, что он выходец из Польши, дворянин, и до 1905 года работал в эмиграции, в Женеве. Мы с Бродским оказались соседями: оба жили на Петербургской стороне, дома через три друг от друга.

В силу ли этого или каких-нибудь других причин, невзирая на мою еле скрываемую к нему антипатию, Бродский стал часто ко мне приходить. С первых же дней знакомства он внушал мне смутное недоверие. Его присутствие всегда причиняло мне какое-то беспокойство. Легкомысленный в разговоре, манерах и одежде, Бродский не производил на меня впечатления серьезного работника. О своем прошлом он рассказывал мало и неохотно.

Говорил только, что нес ответственную партийную работу в эмиграции, а в Россию смог вернуться благодаря амнистии 1905 года.

В 1907 году он раздобыл откуда-то рекомендации в Петербургский Комитет и прошел в секретари военно-боевой организации.

Результаты провокаторской деятельности Бродского, надо полагать, сказались с первых же дней его работы в организации.

Однажды старший дворник передал мне повестку из полицейского участка. Я не пошел и ограничился только тем, что убрал из своей квартиры всю нелегальщину, заменив ее литературой Союза русского народа. Полиция из-за целого ряда вооруженных сопротивлений при арестах в то время неохотно являлась на квартиры.

После второй повестки, угрожающей уже приводом, я стал замечать, что за моей квартирой установлена слежка. Куда бы я ни пошел, один шпик преследовал меня, а другой оставался маячить возле дома.

И вот, в один из тех дней, когда в ожидании ареста я избегал подолгу оставаться в своей квартире, ко мне явился Бродский и предложил взять у него и перевезти к себе большое количество нелегальной литературы и оружие. Я отказался, а Бродский сделал крайне обиженное лицо.

Характерно, между прочим, то, что на утро после провала фабрики бомбистов в Куокала, когда я пришел к Бродскому, как было назначено, он спросонья сообщил мне о провале, хотя никто из партийцев в то утро еще не знал об этом и знать не мог.

Не мог знать об этом и Бродский, если бы в прошедшую ночь он находился в Петербурге. Очевидно, Бродский провел ночь в Куокала, где, в качестве проводника и инструктора, принимал участие в аресте бомбистов и помог выработать план, наиболее безопасный для жизни полицейских.

Когда я стал расспрашивать о подробностях провала, он, окончательно проснувшись, постарался замять разговор.

Вскоре после этого начались повальные аресты участников военно-боевой организации.

В связи с решением царского правительства разогнать Государственную Думу репрессии усилились, и провал следовал за провалом.

1 июня, направляясь на собрание в Выборгский район, где я вел партийную работу, я встретил около Публичной Библиотеки тт. Какса и Ионова.

Они предложили мне поехать с ними в Лесной, на дачу Вебера, на совещание работников военно-боевой организации.

Так как по времени я мог поспеть на оба собрания, то согласился сделать на этом совещании доклад о вооруженном восстании в Москве, как непосредственный его участник.

В семь часов вечера все собрались на даче. В ожидании Бродского, секретаря организации, товарищи пели песни, не подозревая, что это собрание созвано Бродским с провокационными целями, и что всем грозит арест.

Среди участников собрания было несколько товарищей-латышей, которым, в случае ареста, грозила смертная казнь за участие в прибалтийском восстании. Имея это в виду, мы решили, в случае появления полиции, дать вооруженный отпор.

Кто-то спросил у тов. Вебера, имеется ли на даче оружие. Он ответил, что, кроме одного нагана, нет ничего.

Бродского не дождались и решили открыть собрание.

В это время один из участников собрания увидал конных полицейских, окружающих дачу. Он крикнул: — Полиция! — Комната наша мгновенно опустела, но появление полицейских было все-таки настолько неожиданно, что каждый принялся действовать на свой страх и риск.

Часть товарищей рассыпалась по даче; кто-то успел даже залечь в лопухах и этим избегнуть ареста.

Я решил дойти до рощицы и там скрыться. Но не успел я пройти и нескольких саженей, как увидел двигавшийся мне навстречу сильный отряд пешей и конной полиции. Во главе отряда — толстый пристав, перепуганный и дрожащий. Остальные чины тоже, очевидно, не были уверены в своей безопасности и как-то нелепо размахивали оружием. Хотя я имел вид человека, беспечно прогуливающегося по дороге, на меня сразу набросилось несколько полицейских. Меня обыскали и поволокли к даче. Возле нее были уже выстроены мои товарищи.

По требованию пристава всех арестованных сначала хотели связать, но, кроме баржевого каната, веревки не нашлось, и перепуганный пристав эту затею вынужден был оставить. Под сильным конвоем нас повели в участок.

При обыске полиция нашла много оружия и взрывчатых веществ. Все это накануне собрания, под большим секретом, было привезено Бродским на дачу тов. Вебера.

В Лесном участке пристав Гредгус и знаменитый по своим избиениям чиновник охранки (фамилии его теперь уже не помню) вызывали на допрос арестованных поодиночке. Некоторых били и щипали. Был избит и я. Только к часу ночи окончилась вся эта процедура.

На четырнадцати извозчиках нас перевезли в Кресты и разместили по одиночкам.

Я попал в сырую и темную камеру в первом этаже.

Впервые в тюрьме... Прошел обязательный тюремный ритуал приемки с неизбежной грубостью и обыском. Первые минуты в одиночке тянулись невыносимо.

Положение ухудшалось еще тем, что я не знал тюремной азбуки. Только много дней спустя мой сосед по камере, студент Кушнарев, сын табачного фабриканта, проходя по коридору, ухитрился просунуть мне в дверь полоску бумаги с азбукой. Я ее быстро усвоил и уже через несколько дней мог перестукиваться.

Режим в Крестах в те дни был суровый: начальство тюрьмы прибегало к всевозможным провокационным выходкам, чтобы вызвать заключенных на протест. Перевод на карцерное положение или наказание темным карцером практиковались в самых широких размерах.

День разгона II Государственной Думы. Начальник тюрьмы Иванов, в ожидании протеста со стороны политических, с соизволения самого Столыпина (как передавали с воли), получил разрешение на крайние меры. Иванов хотел отличиться и спровоцировать протест во что бы то ни стало, хотя бы пустяшными придирками.

Ко мне в одиночку Иванов ворвался рано утром в сопровождении конвоя солдат. Держа грудь колесом, он

заявил:—За то, что вы смотрели в окно, переводитесь на карцерное положение!

Он испытующе оглядел сначала меня, потом одиночку, точно дожидаясь от меня какой-нибудь вспышки, и круто повернулся к дверям. Вслед за Ивановым ко мне в одиночку явился надзиратель.

Все „лишнее", вплоть до одеяла с койки, после обыска было у меня отнято. Койку замкнули, и я должен был спать на голом полу.

В качестве довольствия полагалось: сырой, непропеченый хлеб и вода.

* * *

Три шага. Поворот. Три шага.

Снова и снова упираешься в стену. Когда-то, очевидно, очень давно, эти стены были выбелены и выкрашены. Теперь они были серого, неопределенного цвета.

С грязного, закопченного потолка на выбитый деревянный пол сочится липкая сырость. Она пронизывает тело и цепенит мозг.

Сверху, из-под потолка, сквозь мутные, запыленные стекла небольшого окна еле пробивается белесоватый свет. Окно изнутри заперто на замок, а снаружи забрано решеткой.

Небольшой, грязный до черноты стол, засаленная койка и табурет,— вот все убранство одиночки Крестов. А в углу — неизбежная зловонная „параша"!..

Из не совсем плотно прикрытого окна тянет морозным воздухом. Если встать на стол, в окно виден тюремный двор в снегу, несколько чахлых деревьев и кирпично-красные, убийственно однообразные тюремные здания. Долго смотреть в окно нельзя...

Через „глазок" в двери раздается сердитый шопот надзирателя. Привычным, заученным тоном он произносит

обычную угрозу: карцер! — От окна нужно отойти, иначе в распоряжении надзирателя целая серия наказаний, стоит ему только доложить „по начальству".

„Глазок" закрывается. Стараешься уловить звуки шагов. Мягко шуршит по коридору валенками надзиратель, и в одиночке не разобрать направления шагов. Часами жадно ловишь хоть какой-нибудь звук. Тюремная тишина в одиночке может довести заключенного до тоски, до мрачного отчаяния.

Тогда единственное спасение — лечь и постараться хоть немного забыться. Койка „не замыкается" весь день. Это привилегия для „политиков", которым тюремное начальство разрешает спать и днем.

Многие из заключенных в этой привилегии находили хоть небольшое облегчение от режима Крестов.

Полная изолированность от всего внешнего мира, отсутствие общения с людьми,— все это подавляюще действует на человека.

Тишина так гнетет и давит, что многие из заключенных, при ругани или грубых окриках надзирателей, доходили до взрывов долго сдерживаемого негодования. В одиночке о двери и стены ломалось все, что только можно было сломать.

Иногда весь корпус, возмущенный каким-нибудь очередным „прижимом", грубым наказанием или провокационными выходками тюремного начальства, принимался за такую обструкцию. Крики, вопли и проклятия по адресу тюремщиков перемешивались с грохотом ломаемой мебели.

Иногда такая обструкция заражала и всю тюрьму.

В обычной же обстановке многие, чтобы услышать хоть звук своего голоса, пели или громко говорили сами с собой. Это кончалось переводом на карцерное положение или темным карцером.

Только строгое, педантичное распределение дня, чтение и занятия по самообразованию несколько заглушали тоску по воле.

После карантинного срока можно было получать по книге в день. Это давало хоть немного успокоения. Но все-таки оставались долгие, томительные часы тоски, когда ничего не хотелось делать, и бесконечные, бессонные ночи. Тогда мучительно вспоминалась воля, жизнь, полная борьбы, движения, шума и красок...

Все пережитое снова переживалось с яркостью действительной жизни...

* * *

Через два месяца по прибытии в Кресты меня перевели в одиночку № 327, на 4-й этаж. Здесь было и светлее и суше.

Кроме того, мне удалось наладить связь с товарищами. От сидевшего недалеко от моей камеры члена Петербургского Комитета Василия Вылузгина я узнал о провале Комитета.

После провала думской фракции с.-д. это был последний подвиг Бродского. Члены Комитета собрались в польской столовой на Забалканском проспекте для обсуждения вопроса о мероприятиях в связи с разгоном Думы и арестом депутатов с.-д. фракции.

Перед самым окончанием собрания в столовую вбежал Бродский и убедил всех не расходиться, так как с минуты на минуту должны притти представители ответственных частей. Через несколько минут после ухода Бродского явился многочисленный отряд полиции, и все находившиеся в столовой были арестованы.

Но провокаторская деятельность Бродского этим не кончилась. После провала в столовой личность Бродского

получила надлежащую оценку в партийных кругах, и охранка решила, очевидно, использовать его несколько иначе. Бродский был посажен в одиночку, смежную с той, в которой находился Гельфанд, один из участников Романовского протеста, получивший каторгу и впоследствии бежавший из иркутской тюрьмы за границу.

Гельфанд, зная уже о Бродском, как о провокаторе, не пожелал отвечать на его стук. Бродский и тут остался верен себе.

„Обидевшись" на Гельфанда за то, что он считает его провокатором, Бродский угрожал повеситься, если Гельфанд не снимет обвинения. Гельфанд не отвечал. Бродский, „оскорбленный в своих лучших чувствах", не повесился, а поспешил скрыться сначала из тюрьмы, а затем и вовсе из России.

Библиотека Института Истории при ЦК КПСС
67761

Глава II

В ОДИНОЧКЕ КРЕСТОВ. ДНИ ПЕРЕД ПРОЦЕССОМ

Со дня моего перевода в Кресты одиночки стали быстро заполняться. Вскоре после разгона III Государственной Думы все они были полны.

Охранка и жандармерия работали во-всю. Процессы „политиков" с сотней подследственных были в то время очень частым явлением. Все дела по политическим процессам разбирались в военно-окружном суде или судебной палате.

В течение 1907 г. и в начале 1908 г. смертные приговоры выносились судами так часто, что в Крестах не проходило ночи, чтобы из одного только коридора не уводили двух или трех смертников...

* * *

...Только что щелкнул „глазок". Это прошла вечерняя поверка.

Мягко прошелестели по коридору валенки надзирателей и отделенного. Снова все стихло. Изредка слышен чей-то далекий стон или глухой кашель. Электрическая лампочка над столиком бросает пятно желтого, немигающего света. В этом расплывчатом круге белеет раскрытая книга. Но читать не хочется. Мучительно прислушиваешься.

Вот, вот сейчас это начнется... Вдруг где-то внизу хлопнула тяжелая, тюремная дверь. Прошуршали чьи то шаги, и шум замолк. Снова тишина, звонкая и пугающая...

В углах одиночки густые тени, и кажется, будто там роится мрак. Тускло поблескивает начищенная медная тюремная посуда на полке. Со стен, поближе к свету, ползут мокрицы и останавливаются в задумчивости.

Когда заставляешь себя читать, несколько страниц пробегаешь машинально. Потом иной мир, такой отличный от тесного мира одиночки, овладевает сознанием, и тогда уже не замечаешь ни тишины, ни мрака в углах, ни мокриц.

Вдруг раздается чуть слышный, мягкий и вкрадчивый звон шпор. Кто-то крадется вдоль стен и ступенек лестницы, стараясь итти как можно тише. Прислушиваешься у глазка. Сомнений нет: это о н и. Осторожные шаги многих ног приближаются все ближе и ближе. Наконец, о н и идут уже по галлерее, все так же тихо и молча. Неподалеку в одиночке щелкает замок.

Подбегаешь к стене, прикладываешь ухо и напряженно слушаешь, стараясь не проронить ни звука. Глухо доносятся невнятные голоса.

Это пришли за смертниками.

Сквозь гул сдерживаемых голосов прорывается истерический вопль. Вопль растет, растет... ширится... оборвался...

Очевидно, смертнику зажали рот. Снова слышны глухие, мягкие удары, сдавленная ругань, захлебывающееся рычание, стоны и гулкое падение тела об пол. Возня прекращается, и шум ног, топтавшихся на одном месте, стихает. Снова щелкает замок, и смертника протаскивают в коридор. Мягкий звон шпор удаляется дальше, все дальше и замирает...

Иногда борьба в коридоре возобновлялась, и смертнику удавалось высвободиться... Тогда по коридору несся надорванный крик:

— Прощайте, товарищи! На Лисий нос везут!..

И в ответ изо всех одиночек, неслись такие же исступленные вопли и крики. Надзиратели стремглав летели от одиночки к одиночке и, склоняясь к глазку, то уговаривали вести себя „смирно и благородно", то грозили карцером... Под утро Кресты замирали.

Но политикам в одиночках еще долго не спалось. Оцепенение и озноб пронизывали все тело. Бессильный гнев заставлял сердце биться сильнее, и плененная мысль настойчиво возвращалась к давно затихшим звукам...

А там, далеко, на границе Финляндии, в белесоватом сумраке раннего северного холодного утра, на Лисьем носу, в присутствии накрахмаленного прокурора и раздушенной жандармерии, священник с крестом освящал дело палача, творимое именем „царского правосудия".

* * *

Полтора года, которые до суда мне пришлось просидеть в одиночке Крестов, прошли томительно-монотонно и однообразно.

Неизвестность первых дней заключения, догадки и предположения о своей судьбе и положении революционной работы на воле меня волновали и нервировали.

С нетерпением я ждал возможности завязать сношения с кем-нибудь из „политиков". Помимо перестукиваний, иногда, взобравшись к окну, удавалось сказать несколько слов своему соседу. Практиковался и такой способ, к которому часто прибегал и я: ночью из окна камеры спускалась ниточка, к концу которой был привязан катышек хлеба и записка. Сосед в нижнем этаже, предупрежденный стуком, ловил записку и посылал ответ. Таким образом удавалось иногда передавать друг другу махорку или даже газеты, попавшие в тюрьму контрабандой с воли.

Тюремный режим был верным барометром настроений на воле. Усиливалась реакция, усиливались и „прижимы“ тюремного начальства. После разгона Государственной Думы переводы на карцерное положение сыпались, как из рога изобилия, по малейшему поводу.

Однажды я попал на карцерное положение при довольно курьезных обстоятельствах. „Параша“ из одиночки выносилась раз в сутки. В эту же „парашу“ нужно было сливать воду после умывания.

Это не всегда было возможно сделать, и вот как-то, недолго думая, я взял и выплеснул мыльную воду в окно; под окном тотчас же поднялись шум и крик, и через несколько минут в мою камеру влетел старший надзиратель Орлов, засушенный, сифилитического типа старик. Арестанты называли его, может быть, не совсем понятно, но зато очень выразительно,—„Петухом“.

Оказалось, что он стоял под моим окном, и вода, выплеснутая мной, окатила его с головы до ног. Когда я увидел и без того смешную фигуру Орлова, мокрого и в мыльной пене, я не мог удержаться от смеха. Петух рассвирепел еще больше и обещал посадить меня на „положение“. Обещание свое он исполнил, и я попал на хлеб и воду.

Даже стояние у окна далеко не всем сходило благополучно. Так, без предупреждения, были застрелены часовыми у окон своих камер несколько заключенных, переговаривавшихся с соседями или кормивших голубей. Несмотря на такие случаи, окно манило к себе всех заключенных с неудержимой силой. Когда наступила чахлая петербургская весна, из окна можно было видеть клочок голубого весеннего неба. Таял побуревший снег, и ручейки быстро текли по тюремному двору. На деревьях можно было разглядеть постепенно появляющиеся почки. Они медленно

набухали, и, как провозвестник новой жизни, появлялась молодая, яркая зелень. Откуда-то издалека доносились жирные, хриплые гудки паровозов.

Из-за тюремных стен долетали звуки города, трудовой жизни, и воображение заключенного уносилось далеко... далеко...

Какой заманчивой казалась эта воля человеку, оторванному от жизни, полной борьбы, а теперь бессильному, запертому в узкую клетку душной одиночки. Воображение не уставало рисовать картины прошлого и той жизни, которая могла бы быть. Казалось,—выйти лишь на волю, и какие грандиозные планы и проекты можно было бы привести в исполнение.

Но через решетчатое окно виднелись—только клочок неба да верхушки деревьев, а сердитый голос надзирателя:—Отойди!—грубо разрушал все иллюзии.

И все же окно манило к себе с неудержимой силой...

* * *

Наконец, через полтора месяца после ареста, меня вызвали на допрос в губернское жандармское управление. Допрашивал меня жандармский полковник Николаев. В его кабинете, когда меня туда ввели, уже сидела, очевидно, чего-то дожидаясь, нарядная дама с высокомерными манерами, должно быть, какая-нибудь сиятельная просительница. В силу этого Николаев был сугубо вежлив и щеголял изысканностью манер. Допрос свелся к заполнению анкеты со специфическими, жандармскими вопросами, и я не мог узнать, что обо мне известно охранке. Прошло уже месяцев семь, и мне уже стало казаться, что охранка забыла о моем существовании.

Но вот меня снова неожиданно вызвали в то же жандармское управление.

Допрашивал на этот раз прокурор судебной палаты Юревич, составивший себе карьеру на политических процессах и особом умении создавать громкие дела. Юревич, как видно, охотно брался за допросы политических и не стеснялся прибегать к грубым провокаторским приемам. Это был человек невысокого роста, худощавый и невзрачный, с тусклыми, хитрыми глазами. Прилизанный, одетый с показной щеголеватостью, с мелкими торопливыми движениями, он походил бы на развязного приказчика из хорошего магазина, если бы не его глаза. Выглядывая из щелок полуприкрытых век, они торопливо перебегали с предмета на предмет, нигде подолгу не останавливаясь и колюче впиваясь в лицо человека. Такие беспокойно бегающие глаза, такой настороженный, ищущий взгляд, как у Юревича, я встречал впоследствии у прирожденных воров-рецидивистов. Когда Юревич допрашивал, он беспрерывно егозил в своем кресле и в перерыве между вопросами сладеньким голосом растягивал ничего не значащие междометия, которым он умел придавать удивительную окраску:

— Та-а-акс!.. Ну, вот!.. Да-а!..

Суетливо бродя колючим взглядом по лицу своей жертвы, Юревич приоткрывал щелки своих глаз и задавал вопрос. Так продолжалось несколько часов кряду. У политика, просидевшего несколько месяцев в одиночке перед допросом и уже нравственно разбитого и надломленного, допрос у Юревича вызывал ощущение какой-то липкой, противной мути, доводящей до тошноты.

Мучительно хотелось поскорее отделаться и от этого противного, сладенького голоса и от взгляда беспокойных, бегающих глаз.

Когда я снова заполнил анкету, Юревич быстро ее просмотрел и спросил:

— Так вы утверждаете, что ни к какой партии не принадлежите?

— Нет, не принадлежу.

Юревич заегозил, затем сделал откровенное лицо, а голосу постарался придать оттенок сочувствия. Бегая глазами во все стороны, он начал рассказывать, что он в дни своей молодости „тоже увлекался и был социалистом", но потом увлечение прошло, он образумился и теперь искренно сожалеет молодежь, пошедшую по „неправильному пути". Сожалеет он и меня.

Сделав многозначительную паузу, Юревич пустился в пространное описание всех тех прелестей жизни, которых я могу лишиться, если буду продолжать „вздорное увлечение социалистическими бреднями".

— Нам и так все известно, и упорством вы ничего не добьетесь. Вы еще молоды, и вам надо жить, а не гнить в тюрьме и на каторге. Сознайтесь, назовите хотя бы несколько имен ваших товарищей, и вы сможете начать новую жизнь!—пропел приторным голоском Юревич и испытующе впился в меня буравчиками своих глаз.

Я еле сдержался, чтобы не ударить по этой насторожившейся, вызывающей гадливость физиономии:

— Ни к какой партии я не принадлежу и никого выдавать не намерен да и не могу, так как никого из принадлежащих к партии не знаю.

— Ах, вот как? Да-а-а...—уже другим тоном заговорил Юревич, и улыбочка исчезла с его лица.—Та-а-к-с!.. Ну, вот!.. Тогда мы поговорим!..

Вот тут-то я впервые и узнал, что у меня найдено при обыске.

Когда я стал отрицать, что эти вещи вообще находились у меня, Юревич показал мне протокол, подписанный понятыми, и вызвал жандармского ротмистра Соловьевича

и попросил его принести вещественные доказательства по моему делу. Через несколько минут Соловьевич, несколько смущенный, вызвал Юревича в другую комнату. После краткого совещания Юревич вышел оттуда еще более развязным и заявил, что вещи сейчас принесут, а пока я могу расписаться в том, что найденное при обыске принадлежит мне.

Не сомневаясь, что вещи хранятся в жандармском управлении, я расписался, и неожиданно допрос на этом закончился.

Много дней спустя я узнал, что Юревич меня спровоцировал.

В одной из немногочисленных передач с воли от межпартийного Красного Креста я получил теплую рубаху, в которой нашел вшитую в ворот записку на кусочке холста. В записке, к сожалению, слишком поздно, сообщалось, что мои вещественные доказательства похищены.

Впоследствии мне рассказывали, что пока полиция узнавала мой адрес, товарищи вынесли из моей квартиры всю нелегальщину. Случайно они не нашли чековую книжку с печатью Петербургского Комитета и несколько номеров нелегального журнала.

Кто-то из партийцев на воле распропагандировал одного из писцов жандармского управления. Долгое время этот писец ухитрялся выкрадывать вещественные доказательства. Как курьез, рассказывали, что из жандармского управления этот писец вынес около двух пудов шрифта, отобранного при аресте подпольного печатника Круглова.

При посредстве этого же писца были уничтожены вещественные доказательства и по моему делу.

Вскоре после допроса у Юревича мне был вручен обвинительный акт. „На основании агентурных сведений" мне было предъявлено обвинение в принадлежности

ченные так изголодались по общению, что сразу, как только карета трогалась, каждый торопился начать говорить. Все хотели говорить и говорить без конца. Почти никто не слушал другого. В военно-окружном суде, когда нас усадили за толстые томы дел, мы не столько читали измышления охранки, сколько говорили друг с другом.

В одиночку каждый из нас возвращался почти опьяненным от разговоров, шума города и той массы впечатлений, которая ярким, красочным диссонансом врывалась в нашу монотонную, однообразную жизнь.

Наконец, через восемнадцать месяцев пребывания на положении подследственных, для нас наступил день суда.

Когда нас вывели в посетительскую при конторе тюрьмы и передавали конвою, произошел инцидент, который только случайно не кончился трагически. Конвойный начальник — унтер, с внешностью щеголеватого писаря, велел солдатам надеть на нас наручни. Один из солдат, производивший эту операцию, прищемил мне кожу, и когда я обратил на это внимание конвойного начальника, он размахнулся и ударил меня по лицу. Я не выдержал и свободной рукой ответил ударом. Конвойный начальник полетел на землю. Товарищи окружили меня, а солдаты пошли на нас в штыки. Дежурный надзиратель сумел во-время вызвать одного из помощников начальника тюрьмы.

Он остановил солдат, и когда мы не захотели ехать в сопровождении этого конвоя, дал слово, что история, подобная только что происшедшей, больше не повторится.

Подавленные инцидентом, мы молча взобрались в „собачник". Среди немолчного гомона Петербурга, ко всему равнодушного и холодного, наш не совсем обычный кортеж покатил к зданию военно-окружного суда.

Глава III.

СУД. ЗАКОВКА В КАНДАЛЫ

Суд над работниками военно-боевой организации начался 3 ноября 1908 года и длился десять суток.

Дело, как большинство политических дел, слушалось при закрытых дверях. Кроме близких родственников подсудимых, в зал суда были допущены „чины охранного отделения“ и слушатели военно-юридической академии. Ведь и тем и другим нужна была практика, и царское правительство заботливо эту практику им предоставляло.

Всем обвиняемым было пред'явлено одно и то же обвинение по 2-й части 102 статьи Улож. о наказ., за принадлежность к партии и подготовку к вооруженному восстанию. Всем в равной степени грозила каторга.

В числе подсудимых были: Ем. Ярославский, студент Технологического института Вл. Бустрем, Август Какс, впоследствии умерший в ссылке, участник Романовского протеста *) Наум Гельфанд, Ионов, судившийся под фамилией Бернштейна, Вера Дилевская, Василий Воробьев и ряд других товарищей.

Защитников было пять или шесть человек. Руководил защитой Соколов. Суд состоял из председателя, генерала Биршерта, двух судей—армейских полковников и военного прокурора.

*) Протест ссыльных в Якутске.

Как в большинстве таких процессов, наша участь была решена заранее. Идя на суд, мы не сомневались ни одной минуты, что все судопроизводство—простая формальность, которую, приличия ради, правительство считало нужным провести по всем инстанциям судоговорительной машины.

Все-таки ожидание суда приподняло нервы у каждого из нас.

Мы вовсе не были подавлены. Наоборот, мы ощущали такую приподнятость настроения, когда тело становится легким, и его как-будто не замечаешь.

Мелочи и детали обстановки суда, черты и выражение лиц, интонации голоса—все воспринималось с какой-то обостренной ясностью и четкостью. Почти все десять суток суда мы были в состоянии какого-то радостного возбуждения, и это чувство сохранялось даже по возвращении в одиночки, куда нас перевозили каждый день после заседания.

Когда всех подсудимых со двора суда ввели под конвоем в обычный, традиционный зал заседаний, первое, что мы увидели,—это дорогие для многих „политиков" лица из „вольной публики", смотревшие на нас через головы „знати" первых рядов: охранников и студентов академии.

Радостные, взволнованные возгласы приветствий смешались в один общий веселый гомон, и генералу Биршерту стоило немалых усилий подавить это „бесчинство".

Конвой усадил нас на скамьи и выстроился позади и по бокам. Невольно всех подсудимых тянуло в сторону мест для публики: там сидели близкие, которых многие не видали со дня ареста. У некоторых разлука длилась несколько лет. Даже те, у кого, как у меня, не было в публике родных, были взволнованы общей радостью и стремились подольше посмотреть на лица людей, близких по духу.

Раздался дребезжащий голос председателя, и судебная машина завертелась. Подсудимые вставали один за другим, сухо и кратко отвечали на вопросы, а скрипучий, деревянный голос председателя тягуче, механически повторял дальше заученные вопросы. Секретарь, склонив голову, напомаженную и расчесанную на ровный по ниточке пробор, быстро летал пером по страницам, расставив для удобства локти вбок.

И скука, серая, томительная скука вползла в зал и как-будто тяжелой, затхлой пылью оседала на лица и фигуры

Конвоиры с шашками наголо, вытянувшись „во фрунт". начали переминаться с ноги на ногу. Защитники, сидящие перед скамьями подсудимых, тихонько перешептываются. Кто-то из защитников одной рукой перелистывает дело, а другой старательно запихивает бородку в рот. Лица публики вялы и скучны.

В первом ряду тощий, гемороидальный чиновник из охранки, уныло свесив свой длинный нос на узком, желтом лице, костлявыми, сведенными ревматизмом пальцами тихонько сбивает пылинки с форменной фуражки, чинно уложенной на колени.

За высокими окнами здания, сквозь давно немытые, пыльные стекла, видны крыши и тонкий дымок, вьющийся из трубы к серому, свинцовому небу.

Голос председателя скрипит все так же глухо и монотонно. Это—маленький старичок. Сморщившаяся кожа туго обтягивает кости черепа, и голая, без единого волоска лысина блестит и отражает блики хмурого света. Кажется, будто в этой живой, одетой в генеральский мундир мумии, теплится едва-едва уловимая жизнь. Когда он протягивает руку, как будто слышится стук еле сгибающихся в сочленениях костей. Из глубоких глазных впадин равнодушно и безразлично смотрят давно потухшие, выцветшие,

мертвые глаза. Тени подагры, ревматизма, фланелевых набрюшников и теплого слабительного на ночь витают над этой головой.

Двое других судей—типичные армейские полковники. Один, пожилой и полный, с рыхлым, безличным лицом и седеющей уже головой, подстриженной „бобриком", уже дремлет, сложа руки на животе.

Другой чертит что-то на бумаге и временами, торопливо оглянувшись и прикрыв рот рукой, тихонько, сладко зевает.

Прокурор, типичный петербургский чиновник, с привычной скукой рассматривает сквозь пенснэ трещины потолка, портрет Николая II за судейским столом и пыльные, в тяжелых складках, гардины.

Должно быть, он не слышит, как секретарь ровным и тусклым голосом, неразборчивой скороговоркой, читает толстый, бесконечный обвинительный акт. И секретарь, без сомнения, не слушает самого себя. Тихо, уныло и скучно. Только изредка кто-нибудь из охранников скромно кашлянет в руку.

Так тянется с 11 утра до 3 дня. Сумерки вползают в зал. Неслышными шагами пристав подходит к штепселям. Мутный, желтоватый свет электрических лампочек холодными лучами будит председателя. Несгибающимися пальцами он вытаскивает золотой хронометр, щелкает тугими крышками и об'являет перерыв.

Зал оживляется, и даже судьи с радостными лицами выходят в совещательную комнату. Публика, гремя стульями, выходит в коридор.

Конвоиры торопятся сбить нас общей группой и выводят в камеру.

Там уже теснятся родственники с узелками и свертками передач. Конвоиры их осматривают, но не очень

строго, а когда уходит конвойный начальник, родственники подходят вплотную к решетке, и солдаты не мешают поговорить или даже пожать протянутую руку.

Мы получаем вести с воли; торопливо передаются записки и даже газеты. Два часа перерыва пробегают незаметно, даже слишком быстро.

И снова зал суда, монотонное чтение обвинительного акта и скука.

Около девяти часов вечера заседание оканчивается. Когда нас сажают в „собачник“ и вывозят на улицу, несколько минут слышны еще голоса близких, поджидавших нашей отправки. Раздаются последние приветствия. Лошади ускоряют бег, и через полчаса мы уже снова в Крестах.

Почти так же тянулись все десять дней суда. Заседания оживились с приводом и допросом свидетелей. Это были агенты охранки, шпики и полицейские. Их допрашивали по каждому обвиняемому отдельно. Шпики были мелкие, из тех, кому охранкой поручалось „наблюдение“, слежка за политическими. Такую серию специфически-криминальных, дегенеративных физиономий могла подобрать только охранка. Смесь крайней робости и забитости, рабской угодливости и подлости, трусости и приниженности сквозила в каждом лице, жестах, фигурах.

Они давали показания тихо, иные даже прикрывали рот ладонью, и все старались говорить вычурно, „по-образованному“. В публике, у подсудимых и у защиты их появление вызвало смех, скоро перешедший в гадливую гримасу. Многие рассматривали их с презрительным любопытством, смешанным с беззлобной жалостью. Большинству впервые пришлось увидеть так близко шпика, агента охранного отделения.

О выслеженном политическом шпик говорил суду необычайно почтительно. Свои показания шпики делали

их был
тошед-
речи,
прямо
ла тор-
сыпали
жидали
ся. Все
каторги
курору,
ко, на-
шутки,
друга.
крепла,
ела под
ого зда-
С „Мар-
у“, пока
голосом
энергией
совеща-
никами.
„прости“

торопливо, конфузливо поглядывая на публику, и спешили поскорее уйти из залы суда.

Второй сорт свидетелей, полицейские, ничего не боялись и твердо настаивали на заученных показаниях, не сбиваясь и не смущаясь никакими вопросами. В особенности отличился пристав Лесного участка. Он говорил, например, что полиция захватила членов военно-боевой организации на даче Вебера чуть ли не с оружием в руках. Было несколько и таких свидетелей, которые отказались от показаний предварительного следствия, об'ясняя дачу этих показаний побоями и истязаниями в охранке.

Суд торопился поскорее отделаться от таких свидетелей и даже не позволял защите задавать им вопросы.

Роль защиты на этом процессе вообще была сведена почти к нулю, хотя по ходу судебного следствия выяснилось, что многие из подсудимых, как например, часовщик, просто притянуты к процессу, и их участие в партии обосновано на весьма шатких данных.

Относительно другой группы подсудимых защита даже не пробовала отрицать их принадлежность к партии, и поэтому в большинстве случаев защитительные речи были кратки.

Так же немногословен был и прокурор. Он оперировал в своей речи не данными следствия или свидетельскими показаниями, а просто своими умозаключениями. В доказательство опасности подсудимых он предлагал суду посмотреть на лица обвиняемых.

По его мнению, Ем. Ярославский, например, был воплощением закоренелого революционера. И надо отдать дань проницательности прокурора,—он не ошибся в своих характеристиках. Возможно, что эта проницательность обусловливалась сведениями из компетентного источника, в роде провокатора Бродского. От обвинения троих из

подсудимых прокурор все же отказался. Один из них был Костицын, после суда действительно совершенно отошедший от партийной работы. В заключение своей речи, показывая на каждого из подсудимых, прокурор прямо предлагал суду сроки осуждения на каторгу.

Наконец, судоговорение окончилось и наступила торжественная минута: суд удалился на совещание.

Мы гурьбой, с шумом и веселыми криками, высыпали в свою камеру. Там, как обычно, нас уже поджидали родственники. В исходе суда никто не сомневался. Все знали, что впереди им предстоят долгие годы каторги и ссылки. Только те, кто попал в милость к прокурору, гадали, каково будет решение суда. У всех, однако, настроение было прекрасное. Начались обычные шутки, поднялся смех, и веселые голоса заглушали друг друга.

Кто-то вполголоса затянул:

„Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног"...

Остальные подхватили; звуки ширились, песня крепла, и вскоре опьяняющая, победная „Марсельеза" гремела под запыленными, толстыми сводами мрачного, казенного здания. Конвоиры тщетно старались прервать пение. С „Марсельезы" перешли на „Варшавянку" и „Дубинушку", пока не пришел судебный пристав и извиняющимся голосом не передал просьбы суда „прекратить шум".

„Шум" мы не прекратили и с удвоенной энергией запели:

„Не-на-ви-стен нам да-а-рский че-е-ртог"...

Часа через два раздался звонок: суд окончил совещание. Началось торопливое прощание с родственниками. Всем хотелось сказать своим близким последнее „прости" надолго, а некоторым — навсегда...

Приговор суда ни в чем не изменил предложения прокурора.

Осуждены были к различным срокам каторги члены военно-боевой организации: Ярославский, Ионов, Вакулин, Бустрем, Колтышев, Гельфанд, Какс и Воробьев. Часовщик, абсолютно не причастный к партии, получил четыре года каторжных работ. Дилевская и Вакулина были осуждены на два года заключения в крепости, а третья женщина приговаривалась к ссылке. Трое—Костицын и двое латышей—были оправданы. Остальные подсудимые получили ссылку *).

„Правосудие совершилось"...

Впрочем, над нами должны были разыграть еще одну комедию. Приговор должен был быть конфирмирован главнокомандующим петербургского военного округа. В ожидании этого нас разместили по прежним одиночкам. Меня еще со времени столкновения с конвоем поместили в совершенно изолированную одиночную камеру, в которой обычно помещались смертники. Эта одиночка не имела сообщения ни с одной из камер и примыкала к коридору и к пустой камере. Против окна высилась церковь.

Лишенный возможности сноситься с товарищами, я вынужден был развлекаться тем, что слушал бормотанье гнусавого дьячка и дребезжащий голос священника. По воскресеньям в церкви пел хор арестантов, и это вносило разнообразие в тоскливые дни полного одиночества.

После дней суда контраст одиночки был очень тягостен. Хотелось, чтобы поскорей начались уже дни новой хотя и каторжной жизни. Хотелось поскорее увидеть своих товарищей и с ними переносить все тягости и невзгоды.

*) При утверждении приговора главнокомандующим петербургским военным округом сроки были сокращены на два года каждому.

Вечером, на седьмые сутки после суда, к моей камере подошло несколько надзирателей, и отделенный вызвал на свиданье.

Я удивился позднему часу свиданья и самому свиданью, так как близких у меня не было. Отделенный предположил, что, может быть, это мои знакомые. Я ему не поверил, но пошел.

Надзиратели шли с растегнутыми кобурами, и, когда мы прошли мимо конторы, я стал догадываться, зачем меня ведут. Они окружили меня тесным кольцом, и мы стали спускаться в подвал Крестов; спускаясь по ступенькам, я услышал удары и звон цепей... Там уже кого-то заковывали...

Щелкнул замок, и дверь отворилась. Это была небольшая камера, совершенно пустая и еле освещенная светом угольной лампочки.

В резких бликах света и тени, возле большой наковальни, положив на нее ногу в кандалах, сидел Ионов, несколько встревоженный не совсем обычным поведением кузнеца. Надзиратели молча наблюдали, как этот огромный детина, покачиваясь из стороны в сторону и пьяно ругаясь, наносил неуверенные удары большим молотом. Я с ужасом ждал, что пьяный кузнец каждую минуту может ударить молотом по ноге Ионова и раздробить ее. Но заковка окончилась благополучно, и наступил мой черед. Кузнец выбрал из сваленного в груды железа большие, заржавленные кандалы. Я положил ногу на наковальню. Молот гулко звенел по железу... Дрожащие, неуверенные руки все еще не протрезвившегося кузнеца довершали дело суда.

Я перешел на „каторжное положение", и цепи должны были напоминать мне об этом при каждом шаге, при каждом моем движении.

Глава IV

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЮРЬМА. КАТОРГА. КАМЕРА № 16

После заковки в кандалы осужденных тут же переодевали в арестантскую одежду. Все „вольное“ снималось и уносилось в цейхгауз. Взамен, из кучи хлама, сваленного прямо на полу, надзиратель вытаскивал рваное, в грязных пятнах белье и такие же рваные, засаленные, дурно пахнущие брюки, бушлат и коты. На руки выдавали подкандальники и ремень.

Ходить в кандалах с непривычки было тяжело, неудобно и крайне стеснительно. У меня после заковки, пока прошел небольшое расстояние от подвала до своей камеры, щиколотки сплошь покрылись кровоточащими ранами. С горьким чувством, с сознанием, что превратился в каторжанина, существо бесправное, даже не человека, а вещь, с которой тюремщики могут сделать все, что им будет угодно, я уселся на койку. При каждом движении, при каждом повороте кандалы гремели, и лязг цепей еще больше усиливал чувство горечи и обиды.

К боли, которую причиняли кандалы, все более и более стиравшие кожу на ногах, вскоре прибавилось еще одно неприятное открытие. Тюремное белье и одежда густо кишели большими, жирными вшами. Тюремщики,

казалось, делали все, что было в их силах, чтобы ухудшить положение осужденного и показать ему, что издеваться над ним можно совершенно безнаказанно.

Во время заковки из одиночки вынесли все мои вещи. Даже одеяло и подушка были заменены казенными. За всю ночь я не сумел даже прилечь на койку.

Два толстых, ржавых, железных обруча на ногах и большая цепь неимоверно мешали, и я никак не мог найти удобного положения. Вши не кусали, а прямо-таки впивались в тело всей стаей сразу. В горьких думах и в войне с паразитами я провел первую ночь.

Наконец, сидение в Крестах окончилось. Нас снова собрали в конторе тюрьмы и сдали конвою. Всех втиснули в небольшой закрытый автомобиль и повезли в Петербургскую пересылку.

Начальником пересыльной тюрьмы был в то время Аракчеев, известный всем, кому приходилось проходить через его руки, необычайно строгим режимом, введенным им в тюрьме.

Мы это почувствовали сразу при неизбежной приемке, обыске и опросе. Надзиратели обращались с нами с какой-то нарочитой грубостью, кричали при малейшем поводе. Руководил приемкой один из помощников Аракчеева, Петров, ранее бывший, начальником губернской Орловской тюрьмы. Это был, в сущности, не злой человек, временами напускавший на себя строгость. Всегда „на взводе", Петров, или, как его называли арестанты,— „холера", вваливался в дни своих дежурств в камеру, с минуту смотрел на всех мутными, ничего невидящими, слипавшимися глазами и, промычав что-нибудь невнятное, тотчас же скрывался. Из кармана брюк у него всегда торчало горлышко неизбежной полбутылки „монополькн".

При приемке Петров предоставил всю процедуру надзирателям и только молча смотрел на нас пьяным взглядом. Временами „холера“ вздрагивал и икал.

После приемки всех развели по два и по три человека в общие камеры. Белье и одежда Крестов были заменены вещами Петербургской пересылки. Все было выдано, хотя и старое, но чистое, без насекомых, не как в Крестах. На следующий день к решетке дверей камеры пришел старший надзиратель по заковке—Некрасов.

За каждого перекованного арестанта он получал 70 коп., за что и исполнял обязанности кузнеца.

Внешность у него была примечательная. Среднего роста, полный, с таким же полным и одутловатым лицом, он всегда производил впечатление только-что проснувшегося и не вполне еще пришедшего в себя человека. Движения его были медлительны и вялы. На шарообразном, с обвисшими щеками, как будто опухшем лице, круглые, немигающие глаза сонно глядели из-под полуприкрытых век.

Торчащие уши и высоко поднятые, густые брови дугой усиливали сходство Некрасова с совой. Арестанты, быстро схватывающие смешные черты, так и называли Некрасова „совой“.

Некрасов вызвал меня по фамилии. Я вышел и спросил:

— Зачем! Куда итти?

Некрасов вяло посмотрел на меня и тем же вялым, скучным голосом ответил неопределенно:

— Идем.

Потом подумал немного и снова прибавил еще более безразличным тоном:

— Идем...

Мне оставалось только пожать плечами и тоже молча итти за этим флегматичным тюремщиком. Некрасов ожи-

вился только в подвале, где, так же как и в Крестах, стояла наковальня и валялась груда кандалов, ремней и подкандальников. Некрасов предложил мне самому выбрать по ноге кандалы и подкандальники. Попутно он дал несколько советов, что и как выбирать.

Кандалы он примеривал с какой-то любовью, едва ли не любуясь, как они сидят на ноге. Движения Некрасова были уверены и ловки, а сам он скорее напоминал сапожника, восхищенного своей работой, нежели тюремщика при перековке.

Кандалы попались мне недавно с кого-то снятые, так как они сверкали, точно отполированные. Подкандальники, по совету Некрасова, я выбрал не очень жесткие, и ногам сразу стало легче.

Вещи, снятые с меня, как и кандалы, со всей снастью, должны были быть отправлены в Кресты. Такой порядок поддерживался Аракчеевым. Необычайно строгий к арестантам и к надзирателям, Аракчеев требовал в тюрьме идеальной чистоты и порядка. За малейшее отступление от выработанных им правил тюремного режима он наказывал арестантов, в особенности „шпану" и пересылавшихся по этапу „кувыркал", самым жестоким образом.

Приземистый человек, широкий в плечах, Аракчеев и ухватками и густым, как из бочки, голосом напоминал палача, каким его рисуют на лубочных картинках. Густые, жесткие волосы и заросшее лицо усиливали это впечатление. Когда Аракчеев говорил, видны были крепкие, хищные зубы.

Острый взгляд немигающих глаз, в которых временами вспыхивали злые огоньки, придавал лицу Аракчеева выражение дикого, насторожившегося зверя, выслеживающего свою добычу. Надзиратели до того боялись этого человека, что стоило ему только показаться в одном из

коридоров корпуса, как по другим корпусам стремглав летели уже надзиратели и испуганным голосом предупреждали:

— Сам идет... Сам...

С „политиками“ Аракчеев старался иметь как можно меньше дела. Когда столкновение с политическими было неизбежно, Аракчеев разговаривал с ними тихим голосом, глядя не на арестанта, а куда-то вбок. Обращаясь к „политику“, Аракчеев тщательно избегал местоимений и, в крайнем случае, говорил политикам „вы“, даже вопреки инструкции главного тюремного управления.

Многие, и не без основания, утверждали, что Аракчеев боится возмездия со стороны террористов с воли.

В первые же дни Февральской революции Аракчеев со старшим надзирателем Павловым скрылся из Петербурга неизвестно куда и с тех пор не был разыскан.

Кормили в пересылке лучше, нежели во многих других тюрьмах. Каторжанам с кухни попадали всегда самые лучшие порции за счет „кувыркал“ *), к которым тюремное начальство относилось пренебрежительно. Впрочем, и в пересылке два раза в неделю соблюдались постные дни, и тогда пища была значительно хуже.

Первая камера, в которой мне пришлось сидеть, была наполнена экспроприаторами, называвшими себя анархистами всех толков, и уголовными. Эти „анархисты“, некогда входившие в боевые организации с.-р. и с.-д., постепенно отошли от партии и, прикрываясь званием индивидуалистов, стали совершать „эксы“ за свой страх и риск. Полученные таким образом деньги быстро ими прокучивались в ресторанах и публичных домах. Там большинство из них и было арестовано. Подводя под

*) „Кувыркалы“—лица, не имеющие права на жительство в столичных городах.

свои уголовные деяния идеологическую подкладку, они прекрасно чувствовали себя в среде уголовников и быстро с ними ассимилировались. Одних и других об'единяла вражда, а порою даже и ненависть к „политикам". Уголовные не взлюбили политических после 1905 года, когда, во время вооруженного восстания в Москве, боевики расстреливали воров, уличенных в мародерстве. Экспроприаторы развлекались наравне с уголовниками и, так же как и они, старались вызвать „политиков" на спор.

Из всей этой компании более или менее приемлем в общежитии был уголовник, вор-рецидивист, сын московского купца—Бочаров.

Это был уже старый человек, со степенными, спокойными манерами. Седой, с небольшой бородкой клинушком, иссушенный, сморщенный и сломленный долгим пребыванием в тюрьмах, Бочаров говорил медленно и тихо, изредка покашливая. В заключении, в общей сложности, ему пришлось пробыть тридцать шесть лет.

Разновременно он получил 150 ударов плетьми, а сидению в карцере и прочим тюремным наказаниям Бочаров и счет потерял.

На каторге он познакомился с „политиками", и это во многом его изменило. Долгое время он просидел с народовольцами в Зерентуе. Бочаров любил вспоминать это время и всегда отзывался о „политиках", с которыми его сталкивала „каторжная" судьба, почтительно, даже с умилением. Эту любовь Бочаров перенес на моих товарищей и на меня.

Любопытна его судьба. Был он на Сахалине, где во время русско-японской войны вступил в вольную дружину, составленную из каторжан. Всем начальство обещало по окончании войны дать свободу. Бочаров принимал участие в боях, был ранен и получил Георгия. В одной из стычек Бочаров был захвачен в плен японцами.

После целого ряда мытарств и приключений ему удалось возвратиться в Москву. Здесь его арестовали, и георгиевского кавалера судили за... побег с Сахалина. В результате Бочаров очутился в каторжной тюрьме. В тюрьме он и умер.

* * *

Через несколько месяцев всех „политиков" перевели в одну общую камеру. В этой камере, № 16, мне и пришлось просидеть до самой моей ссылки в Сибирь.

Очевидно, совершенно случайно в камере были сгруппированы почти одни с.-д. Сюда входили каторжане по нескольким процессам петербургской военной организации: Ем. Ярославский, Бустрем, Гельфанд, Какс, Колтышев, В. Воробьев, братья Трилиссер, Меер и Давид, Л. Воробьев, Лалаянц, Семицкий, Владимир Мещеряков, Адольф Перенсон, Часовенный и Богоносов. Кроме того, в этой камере находилось несколько уголовных.

Такое соединение, которого мы не ожидали, доставило всем большую радость.

Сама камера, по сравнению с одиночками Крестов, была удобнее. Вместо параши в камере была отгороженная волнистым железом уборная. Для умывания был кран с раковиной. У стен стояли койки из деревянных рам, с натянутой на раму парусиной. Койки на ночь опускались, на день же их нужно было замыкать до обеда, после которого полагалось спать. Стараниями заключенных асфальтовый пол был натерт и блестел как паркет. На стенах не было ни пыли, ни паутины. Клопов тщательно выводили, вернее—выжигали, для чего надзиратели приносили лампу-паяльник и бензин. Двери заменяла сплошная решетка, так что камера, или „зверинец", как мы ее называли, была всегда на виду у надзирателя.

День за днем проходил в камере по инструкции, введенной и придуманной самим Аракчеевым. Отступления от правил немедленно и жестоко карались. В семь часов утра по коридору раздавался свисток, по которому каторжане были обязаны тотчас же встать и привести себя и камеру в порядок. Койку и постельные принадлежности на ней нужно было прибрать и поднять. В ожидании поверки все выстраивались попарно. Она производилась в самой камере, куда входили помощник начальника тюрьмы и отделенный с надзирателем. Помощник считал — раз, два, три..., иногда сбивался со счета и пересчитывал по нескольку раз. Заключенные в это время должны были стоять тихо, не шевелясь и не разговаривая. Часов в 9—10 утра в камере снова появлялся дежурный помощник и смотрел, нет ли „беспорядков", вроде „не так начищенного пола" и пр. и пр.

После поверки в камеру обычно вносили хлеб и выпускали в коридор за кипятком. Чаепитие начиналось. После него вся камера скопом натирала пол, а дежурный начищал медную посуду. Когда таким образом все было приведено в порядок и камера сверкала, все усаживались вокруг стола за книги. Их получали и с воли и из тюремной библиотеки. Иногда „на воле" на запрещенную книгу наклеивали обложку и первые листы с самого благонадежного издания, а так как любопытство тюремных цензоров дальше обложки не шло, то „законспирированная" книга благополучно проникала в камеру.

Все такие „вольные" книги находились в цейхгаузе, и по мере надобности их можно было получать через отделенного.

В тюремной библиотеке был сплошной хлам, и книг оттуда мы почти не брали. Беллетристику читали редко и мало. Зато в большом ходу были книги по обществен-

ным вопросам. Многие, впрочем, избирали какую-нибудь определенную отрасль знания или изучали языки. Те из товарищей, кто на воле, поглощенные работой, не имели времени заняться изучением некоторых вопросов, проходили в камере № 16 блестящую школу, тем более, что среди нас были люди с большой эрудицией. Даже уголовники, зараженные общим примером, пристрастились к чтению, большей частью завлекательных романов.

Выдавались и письменные принадлежности: карандаш и перенумерованные, прошнурованные, с печатью тетради. Эти тетради могли быть в любой момент взяты на просмотр в контору тюрьмы или прочтены отделенным и помощниками в то время, когда мы выходили на прогулку. Ведал прогулками специальный надзиратель, угрюмый и белобрысый, которого мы прозвали „Конь". Он был очень неразговорчив и из'яснялся преимущественно нечленораздельными звуками. Прогулка длилась не больше 15—20 минут и по тем же правилам, что и в Крестах: итти парами, не останавливаться. Тем, кто был болен или не хотел кружиться по кругу, разрешалось сидеть на длинных лавках.

До и после обеда натирали пол. В послеобеденное время обязательно нужно было ложиться отдыхать. В это время все обязаны были соблюдать тишину, и даже разговор шопотом преследовался надзирателями. За отдыхом, после небольшого промежутка, снова следовало чаепитие — ужин. Опять натирали пол и по свистку выстраивались на поверку. В коридоре уголовные пели вечернюю молитву и „боже, царя храни". Все должны были стоять, не шевелясь, молча. Помощник начальника и надзиратели за этим следили рьяно.

Иногда, впрочем, политические нарушали этот порядок. Чтобы иметь возможность громко попеть, они

подтягивали молитвы далеко не на молитвенный текст и „боже, царя храни“ умели перефразировать в такие пожелания царю, что надзиратели приходили в ярость.

В семь часов вечера надзиратель опускал фитиль керосиновой лампочки, запертой в решетчатый фонарь, и все должны были спать и лежать обязательно сзакрытыми глазами. Надзиратели деятельно за этим наблюдали, и зачастую можно было услышать такой разговор *):

— Ты что не спишь?

— Не спится...

— Не спится?.. Вот как посадят в карцер, тогда узнаешь, как это не спится!...

Иногда диалог варьировал иначе:

— Ты что не спишь?

— Сплю.

— Как это „сплю“, когда глаза открыты?

— А вот так и сплю...

Раздавался дружный смех всей камеры, и несколько смущенный надзиратель спешил уйти. Такие придирки надзирателей не были редкостью, так как Аракчеев придумал великое множество правил, исполнения которых он требовал со свирепой строгостью.

Днем нельзя было, например, сидеть по углам или разговаривать втроем или вчетвером. Какие бы то ни было игры, карты или шашки преследовались самым жестоким образом. Уличенных в этом уголовных надзиратели выводили в коридор и избивали длинными, тяжелыми ключами. Избиваемый вопил, кричал или стонал, а надзиратели рычали совсем по-звериному и тяжело ухали, точно мясники, разрубающие тушу.

*) Генкин, попавший в пересыльную тюрьму позже меня, в своей книге приводит приблизительно такой же диалог, ставший у заключенных ходячим анекдотом.

Нельзя сказать, чтобы такие сцены, протестовать против которых было абсолютно бесполезно, укрепляли нервы политических, с которыми, правда, Аракчеев не обращался так, как с уголовными...

А нервы у всех, как результат установленного Аракчеевым режима, были в ужасном состоянии. Вынужденная бездеятельность, отсутствие движения, так как работать не позволяли, спертый воздух, однообразие и тяжесть положения каторжанина доводили политических до крайнего расстройства нервов: у многих была острая неврастения, и почти все страдали бессоницей...

* * *

Два раза в месяц заключенные могли выписывать из тюремной лавки продукты на свой счет. Тратить на это разрешалось 4 руб. 20 коп. в месяц. Деньги с воли можно было получать только от родственников, от посторонних не принимали.

Но не у каждого из нас всегда бывали деньги. Составлялась коммуна. Список продуктов составлялся задолго до дня покупки и подвергался сначала общему, всестороннему обсуждению. Ведь купить нужно было так, чтобы желания всех были удовлетворены, и чтобы купленное не испортилось в течение двух недель.

Из с'естного, поэтому, большей частью покупали селедки. У заключенных, при однообразии тюремной пищи, была какая-то непреодолимая страсть к селедкам, спасавшим от цынги.

Передача с воли разрешалась только раз в месяц и то по очень ограниченному списку, так что, кроме чая, сахара, полотенца и двух носовых платков, в одну передачу мы ничего больше не получали.

Письма разрешалось писать раз в месяц на одном листе. Для этого каждому выдавалось по одному листику бумаги, а в камеру приносили перья и чернила. Если было кому писать, заключенные писали так, чтобы в одной строчке уместить три. Часто, раздобыв лимон, писали между строк лимонным соком. Письма с воли приходили к нам без ограничений и заполнялись таким же образом, так что нам удавалось сообщаться с однопартийцами. Провалов, несмотря на тюремную цензуру и такой простой способ конспирации, не было.

Через посредство коридорных из уголовников удавалось обмениваться записками с другими камерами. Уголовные проделывали это во время уборки коридора. При натирке пола, под бдительным присмотром надзирателя, они все-таки улучали минуту и перебрасывали записку сквозь решетку дверей. „Засыпавшихся“ за передачу записки наказывали карцером.

В тюрьме было еще одно развлечение — баня. Водили туда в неопределенные дни и часы. Ведал этим все тот же „прогулочный надзиратель“ — Конь. Надо полагать, что это занятие надоело ему до смерти, и он торопился отделаться от него как можно скорее.

В особенности не церемонился Конь с „кувыркалами“. В маленькую баню он набивал до сотни и больше человек. Едва „кувыркалы“ намыляться или только успеют сбросить с себя одежду, в мыле, или полураздетыми, Конь гонит их назад. С каторжанами Конь обращался деликатнее: в баню водил одной камерой и все-таки давал вымыться.

Однажды это банное развлечение кончилось далеко не весело.

Мыться нам пришлось сейчас же после обеда. Когда мы вернулись в камеры, кипяток по всему коридору был

уже разнесен и выпит. Нам же кипятку и вовсе не досталось. Все, в особенности я, хотели после бани пить.

Я попросил у дежурного надзирателя Григорьева дать кипятку. Грубиян, задира и службист, всегда мечтавший выслужиться, Григорьев накинулся на меня зверем:

— Ты что, порядков не знаешь? Какой такой кипяток! Их высокоблагородие, господин начальник тюрьмы, если бы узнали, задали бы тебе кипяток. Кипя-яток!.. А карцера не хочешь?..

Это меня взорвало, и я ответил Григорьеву его же тоном:

— Дурак! Плевать мне на тебя и твоего господина начальника!

— Ага! Вот оно как?.. Ну, погоди же ты у меня!..

Григорьев обдал меня злобным взглядом, отошел к столику и застрочил. Строчил он долго, с большим трудом, а потом побежал к отделенному. Мы все насторожились. Через полчаса показалась процессия: торжествующий Григорьев, отделенный и один из помощников, прозванный „Пузырем". Это был невысокий, полный человек, с вечно красным лицом, на котором всеми цветами радуги переливались болячки и струпья. Руки его вечно были покрыты грязными, засаленными перчатками, а сам „Пузырь" напоминал ком грязного тряпья. Не только он сам, но даже его волосы, грязными прядями свисавшие на лоб, всегда были в поту.

Вот этот „Пузырь" по записке надзирателя об'явил свой приговор. Я, братья Трилиссер, Ем. Ярославский и Колтышев наказывались темным карцером. На чем было основано такое мудрое решение, так нам и осталось неизвестным.

Вызванные „Пузырем", мы вышли из камеры. Тут же в коридоре нас раздели и в одном белье повели в под-

вал, где помещались карцера. Карцер в пересылке был каменным мешком в три аршина длины и такой же ширины. Там не было ни окна, ни вентиляции. Какую угодно мебель заменяла деревянная, узкая и короткая доска, лежавшая на полу. Эта доска должна была заменять заключенным кровать. По стенам карцера текли „ручейки и реки". Пол на четверть аршина был покрыт никогда не убиравшимися грязью и нечистотами. Старая, разбитая параша только усиливала зловоние. По всему карцеру, не боясь ни шума, ни криков, бегали огромнейшие крысы, изумительные по наглости.

Обычно в таком карцере мог помещаться только один человек, но Меер Трилиссер и Ем. Ярославский вдвоем попали в один карцер, а Давида Трилиссера, Колтышева и меня втроем впихнули в другой.

В темноте, поддерживая цепи кандалов, прижимая к себе паек хлеба, мы едва нащупали доску и все уселись на ней в ряд.

Мы буквально задыхались среди нестерпимой вони. Встать с места, не беспокоя товарищей, было трудно, и все были вынуждены неподвижно сидеть на доске. Всем хотелось пить и хоть на короткий срок времени немного забыться, уснуть. Но, конечно, не приходилось и мечтать о том, чтобы всем троим улечься на доску, где едва мог уместиться один человек. После долгих планов и предположений решили сделать так: лечь каждому на доску и на порцию хлеба, положенную на пол. Таким образом, хотя и на весу и в очень неустойчивом положении, мы улеглись. Голова и часть спины помещалась на доске, а всем остальным телом приходилось с величайшей осторожностью балансировать на краюшке хлеба. Несмотря на то, что крысы прыгали по нас как котята, и забирались даже в волосы, мы были так истомлены, что уснули.

Спать, однако, пришлось недолго. Крысы до крошки с'ели хлеб, лежавший под нами, и мы очутились на грязном полу. Пришлось просидеть до утра измученным, усталым и голодным.

Выпустили нас, благодаря протесту, поднятому всей камерой № 16. Товарищи, посоветовавшись, решили вызвать к себе Аракчеева и потребовать нашего освобождения и неназначения Григорьева дежурным в наш коридор. Вместо Аракчеева протест выслушал помощник его Агафонов, переведенный в централ из сахалинской каторжной тюрьмы.

Этот человек был очень глуп, но хотел казаться „интеллигентом" во чтобы то ни стало. Для этого он носил дымчатые пенснэ со шнурком, болтавшимся на длинном, узком, гемороидальном лице. На тощей шее красовались непомерно высокие воротнички, в которых стиснутый Агафонов похож был на удавленника. Под низким лбом с прилизанными, как будто прикленными волосами, глубоко сидели рыбьи, бесцветные глаза.

Агафонов выслушал „претензию" камеры и пошел с докладом к Аракчееву. После этого мы были освобождены, а Григорьев больше не появлялся в нашем коридоре.

Вообще же камера № 16 была на редкость дружна, спаяна и всегда жила одной семьей. За все два года, что мне пришлось там провести, я не помню ни одной более или менее крупной ссоры. Единственное разногласие вызвала форточка. Большинство настаивало на том, чтобы форточка была открыта весь день. Оппозиция, ссылаясь на свою зябкость, деятельно протестовала.

Больше месяца длилась дискуссия, единственная в своем роде, ибо прения можно было вести только полушопотом и притом не больше, нежели между двумя собеседниками.

В результате дискуссии Меером Трилиссером, с общего одобрения, была составлена „форточная конституция камеры № 16“ и записана в казенную, за печатью, тетрадь. В этой конституции подробно излагалось, когда и насколько времени форточка должна быть открыта. Все подписались под „форточной конституцией“, и с тех пор она соблюдалась всеми. Даже возглавлявший оппозицию В. Мещеряков перестал протестовать, когда из форточки тянуло свежим воздухом или продувало камеру ветерком, очевидно, мешавшим ему заниматься изучением аграрных вопросов. Из-за своей худобы он служил постоянной мишенью для острот и был наделен прозвищем „моща“. Были и такие специалисты по анатомии, которые утверждали, что у В. Мещерякова к голове приставлены только одни доски, почему он и может складываться в любое положение. Впрочем, если дело не касалось аграрных вопросов, он не слыхал ни шуток, ни разговоров. Целыми днями, обложившись книгами, он настойчиво проникал в дебри агрикультуры или утопал в глубинах теории по землеустройству. Близорукие глаза быстро бегали из-за стекол очков по строчкам и, по обыкновению „сложившись“, он быстро поглощал одну страницу за другой, временами косясь только в сторону открытой форточки. В. Мещеряков был так поглощен чтением, что не ходил даже на прогулку, считая это предрассудком.

Если В. Мещеряков был врагом свежего воздуха, Колтышев деятельно воевал с привычкой носить обувь. Так как приверженцев у него не находилось, он сам демонстративно ходил лето и зиму по камере босиком и в конце концов наростил себе такую толстую кожу на пятках, что мог тушить о них свою неизбежную крученку. Колтышев отрицал также какие бы то ни было по-

лезные свойства у воды и не мылся очень подолгу, видимо, боясь испортить себе кожу.

В камере Колтышев был выборным лицом по заготовлению селедок впрок. Для того, чтобы селедки за две недели не испортились, их нужно было мариновать, а так как никому не хотелось с этим возиться, на Колтышева торжественно возложили столь важные для общественного блага обязанности. В дальнейшем оказалось, что Колтышев считает искусство приготовления маринада своей священной обязанностью и не на шутку сердится на советников. Впрочем, такие маленькие недоразумения длились недолго. Народ в камере попался выдержанный, крепкий, стойкий. Ни одного из обитателей камеры № 16 не сломили долгие годы невзгод, и многие впоследствии, выйдя на волю, продолжали партийную работу. Пройдя через каторгу и ссылку, переживая долгие годы тяжких лишений, обитатели камеры № 16 возвратились в партию крепкими, надежными людьми. В этом отношении состав камеры № 16 был исключительным, и годы совместной жизни, проведенные хотя и в очень тяжелых условиях, оставили у всех самые лучшие воспоминания...

* * *

Два года и несколько месяцев каторги прошли как один долгий, томительный, скучный день. Наконец, в ноябре 1910 года, после трех с половиной лет моего сидения по тюрьмам, надзиратель подошел к решетке дверей и крикнул:

— Воробьев, Гельфанд, Какс! Собирайся к этапу. С вещами! Живо!.. И несмотря на то, что уже три месяца, сидя сверх срока, мы ждали отправки в ссылку, этот крик поразил и нас и товарищей по камере. Им было

жалко расставаться с нами, и нам было тяжело покидать их.

Поднялась суматоха, каждый хотел сказать последнее прощай. Мы обнялись и расцеловались со всеми товарищами... С тяжелым сердцем вышли из камеры...

В конторе нас сдали конвою, предварительно зачем-то заковав в ножные кандалы, хотя по инструкции о ссыльных этого не полагалось. Уже под вечер по рыхлому снегу, в группе с уголовными, мы вышли из узкой тюремной калитки на волю. Позади нас высилась темная громада тюрьмы, и окна сквозь решетки тускло сверкали огнями керосиновых лампочек.

Обернувшись и на миг приостановившись, каждый в душе послал тюрьме тысячи проклятий, каждый невольно подумал:

— Неужели еще раз придется попасть сюда!

Мне через несколько лет все-таки пришлось еще раз пройти сквозь узкую калитку Петербургской пересылки. Тогда я не выходил, а снова входил в нее...

Глава V

ПО ЭТАПАМ В ССЫЛКУ

Вечерело. В грязноватых петербургских сумерках, по тающему мокрому снегу, окруженная конвоем с шашками наголо и сбитая в карэ, быстро шла по мостовой партия арестантов человек в тридцать.

Сквозь сгущающуюся темноту все жадно рассматривали дома, магазины, прохожих.

Город жил обычной напряженной жизнью. Звенели и скрежетали трамваи; пронзительно вопя и завывая, мчались автомобили; уныло тащились извозчичьи клячи, и нарядная, сытая и равнодушная толпа без конца двигалась по тротуарам, бесстрастно и холодно взглядывая на мгновенье на партию арестантов...

Под окрики конвоя торопливо дошли до Николаевского вокзала. На перроне, под матовыми, ослепительными фонарями, среди обычной суеты, теснясь к товаро-пассажирскому поезду „Максиму“, с вагонами, у которых окна забраны решетками, арестантов уже дожидались родственники с узелками и свертками. Началась посадка. Прорвавшись сквозь строй конвоиров, в партию проникли родственники. Короткие об'ятия, два—три слова, прощальный поцелуй — все было прервано бранью и окриками конвоя: они торопились загнать арестантов в вагоны.

Подле них, на перроне, еще долго стояли провожающие, и сквозь раскрытые двери были слышны приветствия и плач. В вагонах арестанты теснились к окнам.

Каждому хотелось в последний раз посмотреть на дорогие лица.

Раздался третий звонок, густо рявкнул паровоз, и поезд медленно тронулся. Близкие, дорогие люди, Петербург, тюрьма, партийная работа — все, чем была наполнена жизнь, с каждым судорожным движением стучащих колес отходило все дальше и дальше. И, наконец, далеко на горизонте мелькнуло и исчезло зарево электрических огней такого близкого, родного Петербурга...

Кандалы хотя и стесняли, но принесли нам пользу, потому что конвой решил оберегать кандальников особо. Нас поместили в особое отделение вагона, в котором расположился также и конвой.

Таким образом, мы, трое политиков, были отделены от „шпаны", с ее беспрерывной картежной игрой и матерщиной. Кандалы превратили нас в тюремную аристократию...

Петербургский конвой, узнав, что мы политики, сразу изменил тон обращения. Конвоиры выражали нам свое сочувствие. Это были солдаты уже распропагандированных частей.

Кормовые деньги для нас, по десять копеек в день на человека, были выданы конвою, который в пути покупал нам продукты на станциях. Кроме того, при отправке мои товарищи получили от родственников немного провизии и денег, и до Вятки мы доехали сравнительно хорошо. После тюрьмы радовала мысль, что скоро будем, хотя и в ссылке, но все же на воле.

В Вятку мы приехали в два часа ночи. Местный конвой почему-то не вышел на вокзал, и петербуржцам не

было смены. Наши конвоиры, немного подождав на станции, посоветовавшись, решили отвести нас в вятскую пересыльную тюрьму. Мы двинулись в полной темноте, по глубоким сугробам снега.

В Петербурге перед отправкой всем ссыльным выдали полушубки, но не выдали валенок. Коты скоро промокли, и ноги в казенных, тонких, ситцевых портянках хлюпали в сырых котах. Итти пришлось далеко и долго, через всю Вятку. Хотя в этот день стоял небольшой мороз, уже через полчаса пути ноги промерзли до боли. Проваливаясь в сугробах снега, арестанты продрогли всем телом настолько, что скоро даже перестали поминать родословную тюремного начальства с материнской стороны.

Верст через пять или шесть мы добрели до тюрьмы. Заспанный помощник сонно принял партию и разбил ее по камерам. Когда нас подвели к одной из них и распахнули большую, деревянную дверь, изнутри нас обдало ужасным, до невероятия спертым воздухом, полным нестерпимого зловония. Огромная высокая камера, еле освещенная маленькой керосиновой лампочкой, была переполнена.

На нарах и под ними, на столе и на лавках, прямо на асфальтовом полу, тесно прижавшись друг к другу, переплетясь телами, спали арестанты. Возле огромной, зловонной параши, головами прямо к ней, тоже примостились люди. Камера не вентилировалась, и воздух был так густ от человеческих испарений, спертого запаха махорки, грязного белья и давно немытого тела, что свежему человеку казалось, будто он в этой камере задохнется через несколько минут.

Рискуя наступить на кого-нибудь, мы с трудом пробрались к стене, где нам едва удалось найти место хотя бы для того, чтобы стать друг возле друга. О том, чтобы

просушить ноги или лечь, нечего было и мечтать. Да и ложиться было бы весьма рискованно. Полураздетая, в одном грязном, почерневшем белье, а то и вовсе без него, до-отказа набившая камеру „шпана“ была вся в струпьях, ранах и язвах. Вши ползали по ним густой, серой, беспрерывной массой. То и дело кто-нибудь из спящих, спросонья, машинально почесывался и снова засыпал крепким сном.

Усталые, голодные, измученные, продрогшие, мы простояли на ногах всю ночь, не спуская сумок с плеч и не имея возможности перейти на другое место. На наше счастье, в стене, у которой мы стояли, была небольшая дыра. Оттуда тянуло свежим, чистым воздухом. Чередуясь, мы наслаждались этим воздухом, таким драгоценным в зловонной камере.

Когда наступило утро, положение наше не улучшилось, и мы с трудом двигались по камере, едва пробираясь среди густой, кричащей и бранящейся толпы арестантов. Голод нас терзал и мучил, но отведать стряпни вятской тюрьмы так и не пришлось. Когда в камеру принесли бак с какой-то мутью из гороховой шелухи, даже „шпана“ возмутилась. Среди общего крика и брани по адресу тюремного начальства один из арестантов толкнул бак, и мутная, вонючая жижа разлилась по полу.

Выходя из камеры, я вздохнул с большим облегчением, но в конторе меня ждал неожиданный сюприз. Начальник конвоя, принимая меня и разглядывая мои сопроводительные документы, посмотрел на мою фотографию и вызвал:

— Воробьев.

— Я Воробьев.

— Как звать?

— Василий Константинович.

— Врешь! Это не ты! Ваше благородие, это не тот человек, я не могу его принять!

Помощник, производивший сдачу, только развел руками, а я так и обомлел. Ведь пока наводили бы справки, могло пройти месяца два—три, а мне вовсе не улыбалось возвращаться в ужасную камеру и пробыть это время в кандалах в вятской тюрьме, на вонючей баланде, оторванным от товарищей. И они и я с жаром принялись доказывать начальнику конвоя, что Воробьев, который сейчас стоит перед ним, и есть тот самый Воробьев, который отбыл каторжный срок и должен теперь итти в ссылку. Но никакие наши доводы о том, что пребывание в Крестах и на каторге за три с половиной года могли изменить внешность человека, изображенного на фотографии, не могли убедить упрямого конвоира. Всему виной были мои усы, выросшие за эти годы. Вот эти-то усы, очевидно, мешали конвоиру поверить в сходство между мной и моей фотографией. Наконец, помощник стал убеждать конвоиров принять меня. Начальник конвоя долго колебался, сомневаясь, примет ли меня следующий конвой. Когда, в конце концов, он уступил общим уговорам и согласился, я вздохнул с таким облегчением, точно во второй раз отбыл каторжный срок.

Из тюрьмы на вокзал мы снова потащились пешком. Партию, к которой теперь присоединилось одиннадцать административно-ссыльных, в городе неприятно поразили вятичане. Они смотрели на проходивших арестантов с нескрываемым презрением, чуть ли даже не со злобой. Мы не услыхали ни ласкового слова, не видели ни одного приветливого или хотя бы равнодушного взгляда...

До самого Урала мы сталкивались с таким же отношением „вольной публики“ к арестантам. Зато картина резко изменилась при приближении к Сибири. К поезду,

а иногда,— это бывало в очень ранние утренние часы,—на станцию, поджидая партию, выходили сибиряки, большей частью женщины-крестьянки.

Когда поезд останавливался, конвоирам передавали корзины и узлы с провизией для политических. На одной из станций к конвоиру подошла древняя старуха, опиравшаяся на палку и еле передвигавшая ноги.

— Что, батюшка, политические есть?— спросила она конвоира, шамкая беззубым ртом.

— Есть, есть,— оживленно ответил он, так как многое из таких передач попадало конвою.

— Так вот, передай им!

И старуха протянула огромную корзину, доверху наполненную снедью.

— Только, смотри, отдай политическим... Да ты не обманешь?—вдруг усумнилась она, пытливо взглядывая потухшими глазами в лицо ухмыляющегося солдата.

— Да что ты, бабушка, не обману...

— То-то, не обмани, политическим отдай... А где они, голубчик?

— Вот за этим окном.

Старуха подошла к окну вагона и не спускала с него глаз, пока не тронулся поезд. Все время она что-то неслышно бормотала, и по изрытому, морщинистому лицу, к углам ввалившегося рта, катились слезы. А когда „Максим“ тяжело тронулся с места, она подняла иссохшую руку и принялась крестить вагон мелкими движениями дрожащих пальцев:

— Ну, Христос с вами, голубчики... Езжайте счастливо... „Максим“ прибавлял ходу, колеса начинали громыхать о стыки рельс, маленькая станция удалялась все дальше и дальше, а старуха все еще неподвижно стояла на месте

и смотрела вслед поезду, увозящему политических далеко вглубь Сибири на бессрочное поселение...

С вятским конвоем мы доехали до Красноярска, где снова на сутки пришлось итти в тюрьму. По счастью, здесь для арестованных были выстроены особые деревянные бараки. В них было хоть и холодно, так как мороз доходил до 40 градусов, но зато просторно.

Тюремные порядки были здесь патриархальные, и заключенные пользовались относительной свободой. После вечерней поверки в камере началось общее веселье. Каторжане, большой партией направлявшиеся из Тобольского централа в Забайкалье, устроили танцы. Часть из них изображала оркестр и на гребешках с папиросной бумагой играла заунывные каторжные мелодии, под звуки которых другие каторжане, закованные в кандалы, танцовали то медленно, то быстро, но степенно и плавно, сохраняя во время танца неподвижную серьезность на лицах. Танцовали они так искусно, что лязг цепей и звон кандалов удивительно гармонически сочетались с мелодией импровизированного оркестра. Заунывные, печальные звуки, сливавшиеся и подчеркиваемые лязгом цепей, навевали непонятную, тревожную грусть, и в них слышалась беспредельная тоска каторжанина, томящегося по централам и ссылкам, исстрадавшегося в темных карцерах и под плетьми узнавшего всю горечь и глубину человеческого унижения.

Кто знает, какими тяжелыми мыслями и безотрадными думами были навеяны звуки этих песен!

В неверном свете чадящей лампочки, в рваных, серо-грязных бушлатах, опустив стриженые головы на руки, арестованные молча слушали, неподвижно сидя на грязных, вшивых нарах. Как потом рассказывали, эти песни были сложены давно и переходили на каторге из поколе-

ния в поколение. Томясь безделием и тюрьмой, старые каторжане учили и песням и танцам новых, приходивших им на смену.

На следующий день, в четыре часа, после обеда, мы отправились дальше, в Иркутск. Вдоль линии железной дороги почти сплошь шла тайга, покрытая снегом. Горы сменялись лощинами, и на беспредельных пространствах, насколько мог охватить глаз, тянулись бесконечные белые поля. Вьюга кружила и вертела столбы распушенного снега. Стоял крепкий мороз.

В Иркутске нас ждала почти такая же отвратительная пересылка, как и в Вятке. Деревянный барак был доотказу набит пересыльными. Среди зловония люди так же валялись на голом полу.

После неизбежных приемки и обыска мне сразу повезло. Политссыльный Венгеров, уходящий дальше по этапу, уступил мне свое место... под нарами, и я, не в пример своим товарищам, с первой же ночи мог уснуть. В этом бараке до отправки к месту ссылки нам пришлось прожить две недели. За это время мы обовшивели и изголодались до последней степени. Кормили в Иркутской пересылке ужасно. Хлеб всегда выдавали черствый, как камень, непропеченый и заплесневелый, с отставшей коркой. В этой щели всегда находилась какая-нибудь дрянь, в роде паутины с пауками, тараканов и сору. Хлеб этот пекли из муки, смешанной с землей и песком. Баланда скверно пахла и варилась из протухшей капусты и невообразимой гадости.

Любители сильных ощущений вылавливали в бачке полуразложившиеся кишки и прочую требуху. Но арестанты в пересылке были так голодны, что даже из-за этой баланды и хлеба начинались ссоры и драки. Такие же драки происходили возле бачка грязной, мутной, слегка

подогретой воды, заменявшей, по воле начальства Иркутской пересылки, кипяток. В общей свалке каждый норовил поскорее залезть в бачок своим грязным чайником, чтобы запастись на весь день водой, и прибавлял этим еще больше мути. Когда чаепитие кончалось, на дне бачка оставалось на вершок грязи.

Эту ужасную, голодную жизнь скрашивал своими неистощимыми рассказами административно-ссыльный, уроженец Иркутской губернии, Ваня Петелин, студент Томского университета. Он обладал удивительно сочным, красочным юмором и развлекал своими рассказами всю камеру, и даже буйные уголовные сидели молча, стоило только ему начать какой-нибудь рассказ.

Веселье и жизнерадостность переполняли этого всегда бодрого, озорного человека. Во всем он быстро схватывал слабые, смешные стороны и высмеивал остро и беззлобно. Даже ссылка в глушь не сломил его, даже об этом времени своей жизни он умел рассказывать интересно и смешно.

Был он сослан на поселение в одну из деревень Тутурской волости и вскоре познакомился с деревенским попом Яшкой. От скуки и тоски начали они пьянствовать и пили без просыпу. В этом занятии помогала им и матушка Дуняша, женщина колоссального роста и толщины. Все вместе допились до того, что однажды, рано утром, нетвердыми шагами пробираясь от попа к себе домой, Петелин остановился в задумчивости перед вывеской казенной винной лавки. Поразмыслив немного, Петелин решил, что этой вывеске правильнее было бы висеть над крыльцом поповского дома. Подумав еще, Петелин почувствовал себя даже обиженным в самых лучших чувствах по отношению к попу и его монументальной жене и перевесил вывеску. Крестьяне, приехавшие немного

спустя к попу за требами, увидав над его домом хорошо знакомую им вывеску, сначала растерялись, а потом сообразили, что их попу как раз впору ведать „монополькой". По этому случаю было выпито так много, что поп попал в немилость, и его перевели в Якутскую волость, в медвежью глушь. Все это Петелин не просто рассказывал, а представлял в лицах, и мелкие детали в его передаче заставляли арестантов захлебываться и корчиться от смеха. Только один Петелин и скрашивал тяжелую жизнь в Иркутской пересылке.

Незадолго до отправки в ссылку нас расковали. Кандалы очень стесняли всех, и, попав в Иркутск, мы стали деятельно обсуждать, как бы нам от них избавиться. Уголовные предлагали произвести расковку тут же в камере, а в уплату за это они хотели получить наши кандалы, которые ухитрялись продавать окрестным крестьянам. Не знаю, как бы они это сделали, но прибегнуть к услугам уголовников мне не пришлось. Кандалы были в списке казенных вещей и стоили, кажется, два с полтиной— сумма, покрыть которую мы были не в состоянии. Пришлось поэтому вести длительные переговоры с тюремным начальством.

В день отправки из Иркутской пересылки нас вызвали в контору тюрьмы, и хорошие, новые вещи, выданные в Петербурге, заменили старой рванью. Иркутские тюремщики и тут наживались на арестантах, так как, без сомнения, наши вещи были проданы потом на знаменитой иркутской „барахоловке".

Кроме засаленных, рваных полушубков, нам выдали еще такие же старые валенки, подшитые простым обойным войлоком. Когда я ткнул в подошву, палец пролез как сквозь масло. Недоумевая, как в таких валенках можно итти по этапу, я обратился к надзирателю:

— Дайте другие, покрепче.

— Покрепче? Ишь, чего захотел! Все одинакие, других на вашего брата не припасли. Не нравится, не бери. Жди тут весны.

Ждать весну, сидя в Иркутской пересылке, мне, конечно, не хотелось, и я покорно напялил эти замечательные валеные сапоги.

До весны мы были временно назначены в Тутурскую волость, Верхоленского уезда, так как зимой ссыльных далеко не пересылали.

С весны же, по первой навигации, мы должны были переехать в Мартыновскую волость, Киренского уезда. Пока что, до Тутур нам предстояло проделать путь в 360 верст. Был декабрь месяц, мороз стоял до 45 градусов, и перспектива была не из веселых, тем более, что стараниями начальства Иркутской пересылки одеты мы были более, чем легкомысленно.

Из Иркутска в сопровождении конвоя вышли мы в путь в четыре часа утра. В партии шли одиннадцать политиков и среди них одна женщина—Мешковская. Большинство партии составляли уголовные. Их было человек двадцать восемь. Подгонямые морозом, все шли быстро. На окраине города казенные валенки расползлись и почти босые ноги оказались в снегу. Итти по дороге в таком виде, да еще в сильный мороз, мы не могли, но заменить валенки было нечем.

По счастью, кому-то пришла в голову счастливая мысль. Оторвав рукава от полушубков, мы напялили их на валенки и, приспособившись таким образом, продолжали путь.

Уголовники, зная, очевидно, из опыта, что пользы от казенной одежи будет мало, уже в Иркутске, на глазах конвоя, пропили с себя халаты и брюки и остались в одних полушубках поверх белья.

Вскоре пропили они и полушубки. Шли они хотя и сильно навеселе, но холод их донимал. В каждой деревне, через которую проходила партия, уголовники воровали всякую одежду, какая только попадала им под руку. Многие шли в юбках, кацавейках и платках, и партия среди сугробов снега, одетая в самую разнообразную рвань, напоминала бегство французов из России в 1812 году.

Рис. № 1. По этапам в ссылку

Так пришлось промаршировать 36 верст до Ойка. Там иркутский конвой сдал нас крестьянскому, или, как его называли, „палочному конвою", и партия заночевала в этапе.

Среди политиков шли аграрники с юга. Между ними был дряхлый старик, случайно арестованный по подозрению в связи с аграрниками. Хотя связь эта была чисто случайной, но старик на допросе испугался угроз жандармов и выдал всех. Итти в ссылку ему пришлось в од-

ной партии с невольно преданными им людьми. Уголовные каким-то образом разузнали об этом и пронюхали, что старик несет с собой вшитые в одежду деньги. Мучимые жаждой опохмелиться, уголовные сговорились в Ойке, под предлогом расправы с предателем, избить и ограбить старика. Ночью началась возня. Уголовные стали потихоньку подбираться к намеченной жертве, и политики, проснувшись, еле спасли несчастного. Кто-то из аграрников нашел в сенцах колун*) и пригрозил им уголовным, если они посмеют тронуть старика. Организованное выступление политиков оказало свое воздействие на шпану, и хотя их было втрое больше, они не посмели в дальнейшем проделывать свои обычные номера.

Рано поутру сельский конвой поднял партию. Подле караулки уже стояли одноконные сани. Сильный мороз в 45 градусов не позволил воспользоваться таким роскошным средством передвижения, и ссыльные, бросив вещевую сумку в сани, чтобы хоть немного согреться, изо всех сил догоняли свой тепло одетый конвой.

Эти конвоиры даже не оглядывались назад, уверенные, что ссыльным бежать некуда и незачем; все равно в селе поймают. Кроме кнутовищ, крестьяне ничем больше вооружены не были, почему и назывались палочным конвоем. Проселочная дорога, по которой пришлось передвигаться, была почти безлюдна и пустынна.

Люди и грузы наводняли этот путь с весны и до заморозков. С открытием навигации вдоль этой дороги тянулись к воде бесконечные обозы с грузом и провиантом на Якутск и Ленские золотые прииски. Тысячи бродяжьего люда и „приискателей“ шли и с песнями ехали попытать счастья, „постарательствовать“ и поискать

*) Топор для колки дров.

„фартового золота". Прекращалась навигация, замирала и жизнь на дороге. Теперь только изредка мчалась тройка с почтой или с пассажирами, которых неволя заставляла решаться на долгий и тяжкий путь. То медленно, отлого поднимаясь, то сменяясь таким же бесконечным спуском, ползла дорога. Безконечные холмы и невысокие горы тянулись пустынной, белоснежной полосой. Изредка, далеко на горизонте, маячила полоска осыпанного снегом леса да на тощей, малорослой, брюхастой, но бойкой лошади скакал куда-то бурят.

Рис. 2. Каторжные работы на Ленских приисках.

На большом расстоянии друг от друга стояли бурятские деревни, сонные и безжизненные, с большими, угрюмыми домами из побуревшего бревна. Дома стояли ровно, все в одну линию, по обе стороны дороги, а за домами сразу начиналась снежная пелена пустынного, безграничного поля. Посредине деревни — неизменная церковь, деревянная и жалкая.

Кое-где из труб вьется дымок и штопором ввинчивается в морозный воздух. Изредка в окне занесенной снегом избы прижмется к заиндевевшему стеклу широкоскулое, с чуть раскосыми глазами, лицо бурята. Приплюснув короткий нос, он равнодушно смотрит на обоз с ссыльными. И снова — поле, снежные равнины и звонкая, морозная тишина. Скрипят только полозья, да кто-нибудь из палочного конвоя тонко затянет унылую сибирскую песню.

По ночам все те же ночлеги в этапках, под присмотром бурят, тревожный сон вповалку на полу и на овчинах, какое-то суровое, неразговорчивое, но радушное гостеприимство. И снова — дорога, мороз и тишина.

Наконец, дорога стала спускаться книзу и ютиться у подножия сопок: верный признак, что близка река. Чаще стала попадаться растительность. У речки Манзурки, впадающей в Лену, дорога стала совсем хороша. Красота была необычайная: суровая, угрюмая, подавляющая. В селе Манзурке, в волости, нас впервые встретили местные политические ссыльные. Еще задолго они узнали о нашем приезде и заранее поджидали прибытия партии. После приемки партии писарем ссыльные начали расспрашивать политиков: кто, откуда, по какому делу. Так узнавалась принадлежность к партии, и однопартийцы уводили к себе пересыльных. Меня повел к себе Морев, сосланный в Манзурку по делу большевистской организации в Петербурге.

У Морева впервые после долгих дней я отдохнул и телом и душой. Вместе с ним мы пошли к ссыльному присяжному поверенному Милошевскому.

Оба они жаждали узнать от меня новости из России, а я наслаждался разговором, обстановкой чистоты и домашнего уюта, которого я не видел так давно. Жена Милошевского, такая же старая, как и он, трясущимися руками

разливала чай, который казался необычайно вкусным, и усиленно угощала. Беседа затянулась надолго, а когда после первой ночи крепкого сна мне снова пора было тронуться в путь, Морев дал теплое белье, собранное им и Милошевским, валенки и три рубля. Валенки были для меня особенно дороги, так как рукава от полушубка, заменявшие их, давно уже грозили расползтись в разные стороны.

Рис. 3. „... Широкая река делала крутые и зачастую неожиданные повороты."

До большого, торгового села Качуги, от которого идет уже водный путь, мы путешествовали все так же, догоняя сани. Но от Качуги, по льду реки Лены, нас повезли на тройках, запряженных все теми же небольшими, брюхатыми лошадьми. Пейзаж резко изменился. Широкая река, местами разделенная островками, делала крутые и зачастую неожиданные повороты.

Берега реки были покрыты не густой, мелкой порослью елей и лиственниц, уходящих вдаль тайги. Тройки быстро мчали от станка до станка, и лошади менялись каждые 30—40 верст. Иногда, вместо станка, лошадей перепрягали у зимовья — небольшого, низкого, деревянного сруба. Там костер раскладывался прямо посредине избы, и густой, едкий дым, выползая в маленькие оконца, ел глаза, заставлял кашлять и задыхаться.

Население редких деревень по пути состояло почти сплошь из ссыльных, вновь присланных и давно застрявших в Сибири. Они обзавелись семьями, стали хозяйничать. Кроме ссыльных из Средней России, тут были и поляки, черкесы и украинцы. Царское правительство культивировало далекие берега Лены...

В Верхоленске, в местной дрянной тюрьме, надзиратели сделали попытку ограбить нашу партию. Они переодели уголовных в свою форму, и те, придя в нашу камеру, вздумали учинить обыск „с реквизицией".

Мы быстро уличили самозванное „начальство", и уголовные, перестав играть роль надзирателей, поспешили скрыться. После этого примера уголовные в нашей партии воспрянули духом. На ближайшем станке, где мы заночевали, было холодно, как на дворе. Часть ссыльных пошла по дрова, а часть на поиски сторожа. В караулке с уголовными остались два или три политических и Мешковская. Шпана затеяла притворную драку, и сумка Мешковской с кое-каким бельем, ботинками и мелочью исчезла.

Мешковская просила возвратить ей сумку, так как в ней было все ее достояние. Но уголовные упорно отрицали кражу.

Возвратившись, товарищи застали Мешковскую очень расстроенной. Один из ссыльных, уроженец Барнаула,

сгоряча схватил наиболее подозрительного уголовного из шпаны и обошелся с ним несколько энергично.

„Шпанец" указал на вора, и вещи Мешковской были найдены под половицей. Этим до конца пути исчерпались столкновения с уголовными.

Наконец, однажды утром возчики (они же и „палочный конвой") об'явили нам, что до места уже близко. И, действительно, после трех, быстро промелькнувших

Рис. 4. „Вот тебе, паря, и Тутура!"

одна за другой деревень дорога с реки перешла на берег, и мы за три версты увидели колокольню Тутуры, где нам предстояло провести долгие, зимние, безотрадные месяцы томительной ссылки.

Чуя близкий отдых, брюхастые лошади чуть не стелются по снегу. Колокольчики заливаются под дугой, а возчики как-то особенно лихо примостились на облучке, чтобы с „фасоном" в'ехать в село.

Тутура все ближе и ближе. Видна уже белая церковь, выкрашенный в синюю краску дом и десятка два жалких хибарок.

Возчик оборачивается на облучке и, в улыбке показывая крепкие зубы, говорит радостно:

— Вот тебе, паря, и Тутура!

Тройка подкатывает к волости. Там уже восседает писарь. Он быстро принимает партию. Ссыльный свободен и может итти и „свободно“ добывать себе ночлег и хлеб. Казна выдает кормовые деньги только до прибытия к месту ссылки. И поэтому за сегодняшний день ссыльным не полагается даже обычного гривенника.

Положение для ссыльного, измученного дальней дорогой, холодом и недоеданием, оставленного по большей части без денег, далеко не веселое.

По счастью, в Тутуре была колония политических ссыльных. Они пришли в волость и после коротких расспросов увели к себе вновь прибывших. Я попал к ссыльному Лезову, рабочему с Урала.

Глава VI

ССЫЛКА

Человек, долгие дни просидевший в полном одиночестве, в узком, темном и вонючем карцере, выпущенный в общую камеру, испытывает странные ощущения. В течение многих дней его ошеломляют и свет и краски, шум, люди, движение.

Приблизительно такое же чувство потрясения испытывал и я, выйдя на свободу и перестав чувствовать над собой надзор конвоя. Я мог двигаться куда угодно, говорить и делать все, что вздумается. Это сознание так ошеломляло, что, идя по улице села, я чувствовал какое-то опьянение и разглядывал дома, встречных крестьян, даже лениво бредущих собак так, как будто видел их в первый раз.

Никто не обращал внимания ни на меня, ни на мою арестантскую одежду. Крестьяне, уже привыкшие к ссыльным, даже не смотрели на меня. Знаменитые сибирские собаки-лайки, поднимающие заливчатый многоголосый брех, стоило только показаться постороннему в селе,— не обращали на ссыльных ни малейшего внимания.

Лезов весело шутил. Снег хрустел под ногами и искрился под лучами морозного солнца. Небо было сине над широкими снежными просторами. Дали разворачивались бесконечной полосой тайги, и простор, свобода,

сознание, что можешь итти, куда только захочется, подавляли и даже умиляли. Хотелось беспричинно смеяться и петь. Какая-то расслабленность овладевала телом, и я шел, точно только в первый раз встал после тяжкой болезни.

У себя на квартире Лезов накормил меня медвежатиной и напоил чаем. Никогда в жизни я не ел с таким аппетитом.

Медвежатина, которую я попробовал в первый раз, показалась необычайно вкусной и сочной. Горячая, сытная пища, которой я был лишен так долго, опьянила еще больше. Тут же у стола, уронив голову на руки, я незаметно для себя задремал и проспал до утра крепким, бодрящим сном.

На утро Лезов потащил меня в тайгу. Он тоже еще недавно был в ссылке, и его, как и меня, опьяняло чувство свободы. Мы бегали, барахтались в снегу, громко говорили, не слушая и перебивая друг друга, кричали, смеялись и даже пели. Лезов пел ужасным голосом, слуха у него не было никакого, но мне тогда его пение очень нравилось. Кругом царили тишина и безмолвие пустынного леса.

С ветками, наклонившимися книзу от тяжести снега, стояли ели, вытянувшись к небу. Снег искрился и голубел в далях. Белки и летяги, взмахнув пушистым хвостом и осыпая снег, перелетали с дерева на дерево. Лезов захватил с собой ружье, но стрелять нам не хотелось, и мы восхищенно смотрели и на белок и на птиц.

Много дней кряду мы с утра забирались в тайгу и возвращались домой с сумерками, голодные, усталые, но счастливые и радостные.

Стоило нам только войти в тайгу, как нас неудержимо тянуло все дальше и дальше, как будто, пройдя еще

немного, увидишь неясную мечту, которая грезилась всю жизнь.

Но вскоре тайга начала нас давить. Ее вечное безмолвие и снежные дали стали навевать тоску. Всюду, куда ни взглянешь, тянулась полоса тайги и волнистая цепь гор. Их дикая и суровая красота возбуждала тревогу, и нам уже не хотелось смеяться или петь. Безмолвие и снежная даль будили в памяти давно забытые представления и мысли, вызывали к жизни неясные образы, и среди осыпанных снегом елей мучительно хотелось заплакать, завыть по-звериному...

Тогда мы, сумрачно и не разговаривая, возвращались к себе домой и усаживались за работу. У Лезова, как и у меня, финансы были в очень плачевном состоянии. По счастью, Лезов получил заказ переплести всю волостную библиотеку Тутуры. Даже не имея понятия о переплетном ремесле, Лезов храбро принялся сшивать книги, и они имели бы очень плачевный вид, если бы добрые люди нас не научили. Я деятельно помогал Лезову, и это занятие кормило нас всю зиму.

Жили мы у тутурского крестьянина, Ивана Егоровича Зырянова, седого, благообразного старика. За три рубля в месяц он сдавал нам половину избы, отделенную от прочего жилья недоходящей до потолка перегородкой. Все, что делалось в большой половине, где жила семья Зырянова, доносилось к нам. Печи на нашей половине не было, и тепло шло от хозяев, тоже через перегородку.

Они докрасна топили железную печь, и лед, извнутри насевший на наши окна, превращался в огромнейшие лужи. Но в общем мы были довольны и своей просторной комнатой и неразговорчивыми, малообщительными хозяевами. Первое время мы по вечерам ходили в гости к другим ссыльным.

Но длинными, бесконечными вечерами, когда от сильного мороза трещал лед на реке, и вьюга завывала в трубе и кружила снежным вихрем, никуда не хотелось итти из теплой, полуосвещенной комнаты.

Возле старого, давно нечищенного, с прозеленью, медного самовара на столе валялась распечатанная пачка махорки, засохшие куски хлеба, раскрытая, истрепанная книга. Маленькая керосиновая лампочка, чадя, бросала пятно неровного света, и, угасая, тоненьким голоском самовар пел унылую песню.

И Лезов и я сидели молча. Иногда кто-нибудь быстро вскакивал и начинал кружиться по комнате. Другой уже знал, что тревожит и мучит товарища. Все те же мечты о России, об иной, деятельной жизни, мечты о побеге... Но все это было уже переговорено и обсуждалось на тысячу ладов. Говорить больше не стоило.

Лезов своим ужасным голосом начинал тихо напевать, „скуля“ что-то неразборчивое и грустное. Самовар угасал и молча стыл, покрившись прозеленью медных боков. За окном, в непроглядной темноте, все так же выла вьюга.

Наступала длинная, томительная сибирская ночь...

* * *

С весны число ссыльных в Тутуре сильно уменьшилось. Многие были отправлены по пути в Киренск, многие пошли на побег.

Побеги из ссылки носили в то время массовый характер. Кто не имел денег, уходил пешком. Один из ссыльных, не имея ни гроша, пошел на пари, что через полгода будет в... Египте. Этот смельчак зимой, при 40 градусах мороза, пешком дошел до Красноярска.

Здесь над ним сжалился один из кондукторов и „зайцем“ довез его до России. С фальшивым паспортом

ссыльный пробрался до Одессы, забился в трюм парохода и вышел из трюма только в Константинополе.

В Турции он работал на табачных плантациях, поспорил с хозяином и, как политически неблагонадежный, был выслан в Египет. Оттуда он прислал письмо в Тутуру.

Понятно, что такие случаи поддерживали настроение, и каждый из ссыльных деятельно готовился к побегу и измышлял тысячи планов. С лета стал подготовлять побег и я. У меня уже был готов фальшивый паспорт, а к осени уже все к побегу было готово.

За несколько дней до побега я отправился за 30 верст от Тутуры в село Знаменку, к ссыльному Мешковскому, договориться относительно некоторых деталей побега.

Новый пристав, недавно переведенный в Знаменку, вздумал учинить поверку ссыльных и зашел к Мешковскому. Увидя меня, пристав спросил, по какому праву я нахожусь в Знаменке. Я назвался фамилией ссыльного, который, по истечении определенного срока, имел уже право передвигаться из волости в волость. Однако, это не удовлетворило пристава, и он предложил мне следовать за собой. Итти по грязи за приставом я не захотел, и урядник пошел за лошадью. Пристав предложил мне сесть на козлы и править по его указанию. Я ответил:

— Вашим возчиком не буду, а если вы хотите быть моим—садитесь...

Пристав вышел из положения, усадив на козлы урядника, и мы поехали к полицейской конторе. По дороге пристав спросил, как меня зовут. Я назвался именем ссыльного, чьей фамилией я уже воспользовался,—Димитрием. У конторы пристав торжественно сказал:

— Счастье ваше, что вас зовут Димитрием. Вы свободны.

Я ушел, ничего не понимая. Потом мне рассказали, что пристава тоже звали Димитрием, и что в этот день он был именинник.

После этого случая я решил ускорить побег.

Несбыточной, неясной мечтой вставала передо мной Россия...

Грезились большие города, немолчный шум толпы, грохот фабричных колес, борьба за лучшее будущее...

И тайга теснила еще больше... До боли, до крика...

Глава VII

ПОБЕГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ. НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. АРЕСТ

Последние дни перед побегом я провел в Жигалове, где жил с политическими ссыльными—Поспеловым и Голомидовым.

С Поспеловым я давно уже уговорился бежать вместе. Приготовления к побегу были очень несложны. Я раздобыл себе паспорт на имя какого-то крестьянина 47 лет. Разница в годах получалась крайне подозрительная, но приходилось довольствоваться и этим, в ожидании, пока волостной писарь из Тутуры пришлет мне другой, более подходящий. Организовать побег из Жигалова было не трудно. Именно—осенью, перед окончанием навигации, село было переполнено всяким, довольно многочисленным приисковым и бродяжьим людом, тянувшимся с приисков в Сибирь и Россию.

В Жигалове с водного пути переходили на тракт, а по этому случаю счастливые приискатели „гуляли“, и в Жигалове от их гульбы стон стоял. Возле каждого разгулявшегося приискового „Ивана“ толпились прихлебатели, всякого рода дельцы и гулящие женщины. В таких условиях жизни „политики“ были незаметны, и полиция не обращала на них особенного внимания.

Ежедневно, а то и по нескольку раз на день, в село приезжали обозы с товаром и продовольствием для отправки по рекам Лене и Витиму. В обратный путь возчики этих обозов увозили к линии железной дороги старателей и прочий люд.

Поспелов и я выбрали путь по тракту на станцию Тыреть.

Этот тракт был проложен когда-то ген. Шалашниковым и шел в стороне от многолюдного пути Жигалово—Качуга—Иркутск.

Помимо того, что Тыретский тракт был на 110 верст короче Качугского, он был еще удобен и тем, что по его пути было очень мало сел, и полиция почти совсем за ним не следила.

Денег мы собрали немного, кажется, рублей по пятидесяти на человека, оделись в типичную приискательскую одежду и выехали из Жигалова с обозом из 15 телег, наполненных, кроме одной старухи-торговки из Булуна, исключительно приискателями. Взяли с нас возчики за 260 верст пути по три рубля с человека, лишь бы не возвращаться домой порожняком.

Обоз выехал из Жигалова 6 сентября рано поутру. Почти через час пути дорога пошла тайгой. Погода стояла сухая, морозная. С чистого, безоблачного неба, сквозь прозрачный, осенний воздух, ласково светило солнце, золотыми бликами рассыпавшееся по листве деревьев.

Хвои и лиственницы стояли в уборе то пожелтевших, то темно-багровых листьев. Горы, в больших, серых валунах, обнажали свои бока из красной и серой глины и пестрели прожильем сланцевых и графитных пород. К вершинам взбегала теснящаяся поросль, пестрящая тремя основными тонами осенней тайги: темно-зеленым,

блекло-желтым и пурпуром, переходящим в багрянец. Зелено бурые, как будто выцветшие на солнце, мхи ползли между стволов вековых деревьев и между камней, заполняя каждую свободную пядь земли.

Стояла особая, таежная тишина, и крики птиц не нарушали, а только усиливали впечатление безмолвного покоя. Изредка стремительным пушистым комочком дорогу перебегал заяц и спокойно садился неподалеку, с любопытством смотря вслед обозу.

Кедровки перелетали с дерева на дерево. Лошади бойко бежали по сухому, подмерзшему грунту.

Но вскоре дорога пошла под уклон, к низинам. В ущельях гор, где между камней бурлят быстрые сибирские реки, дорога обрывалась и превращалась в тропы. Сверху давили громады глинистокрасных гор, изборожденных и выветренных ливнями и вихрями. Тропа, прерываемая бродами, беспрерывно кружила, и с каждым поворотом открывался еще более величественный, полный дикой, суровой красоты вид. В пурпуре уже заходящего солнца причудливые очертания горных вершин принимали формы фантастических замков, башен и крепостных стен. На необозримое пространство, покуда хватал глаз, тянулась широкая перспектива гор и тайги. Кроме нашего обоза, вытянувшегося маленькой, короткой ниточкой вдоль русла реки, не было видно дымка человеческого жилья, не было слышно человеческого голоса или лая собаки. На весь день обоз затерялся среди полного безлюдья гор и тайги. Дышалось легко и радостно, полной грудью. Сквозь неясную тревогу, как бы не попасться, покой и тишина овладевали сознанием, и такими далекими казались тяжелые годы тюрьмы и ссылки...

...Верстах в двадцати от Жигалова навстречу обозу вдруг послышался звон переливчатых бубенцов под дугой.

С бубенцами ездила по Сибири полиция или вообще какое-нибудь начальство.

Никто в обозе не обратил внимания на эти звуки. Возчики, сгрудившись у последнего возка, нещадно дымили махоркой в трубках, кнутами стегали по пыли, равнодушно поплевывая по сторонам, и вели неспешный разговор. Старатели или спали, вытянувшись на возу, или мечтательно глазели. Кое-кто из них негромко тянул медлительную, унылую, тягучую „варнацкую" песню. Только я и Поспелов встревожились. Мы улеглись на дно телеги, под полушубки, и из-за щелки принялись наблюдать, что будет дальше. Вскоре на тройке показался пристав, однажды уже арестовавший меня в Знаменке.

Поравнявшись с обозом, пристав привстал и внимательно осмотрел всех седоков. Наша повозка не возбудила в нем сомнений, и гроза миновала. После этой встречи, на всякий случай, мы решили принять меры предосторожности. На первом же привале мы нарезали сучьев, связали их сводом над телегой и прикрыли брезентом. Никто из спутников не обращал внимания на нашу работу. Только старуха-торговка шутя намекнула нам, что она подозревает наши намерения и знает, кто мы. Сдержанные сибиряки за все время пути не спросили нас, кто мы, куда и зачем едем.

Проехавши Знаменку, верстах в сорока пяти от Жигалова, обоз остановился на ночлег в небольшой деревне. Приискатели, в поисках водки, тотчас же разбрелись по избам. Что произошло у них с крестьянами — неизвестно, но едва мы только притронулись к еде, как по всей деревне затрещали ружейные выстрелы. И приискатели и крестьяне были вооружены, и на деревне начался форменный бой.

Не желая быть втянутыми в эту историю, мы уговорили возчика выехать из деревни. Следующую ночь при-

шлось провести на зимовье. По сибирским трактам эти зимовья носят характер весьма своеобразных гостиниц или, вернее, постоялых дворов.

Хозяин, угрюмый чалдон из бывших каторжан или бродяг, кроме ночлега, имеет наготове для путников и самую лучшую, разнообразную закуску, и водку, и, при случае, женщин. Стоит такое зимовье в глухой тайге, и не один старатель оставил там не только свое золото, но и свою жизнь. В небольших горницах зимовья, под низким бревенчатым потолком, тесно, грязно, душно и накурено. Люди спят вповалку на грязных лавках, на столе и на давно немытых шершавых полах.

Всюду разостланы овчины или собачьи дохи: на них спят, ими и укрываются. Все спят чутко, насторожившись, не раздеваясь.

Бывалый люд держит руку у пояса, на рукоятке ножа, или кладет под голову топор. Острыми, колючими глазами хозяин ощупывает новых постояльцев, которые, не без основания, предполагают в нем грабителя. Дикий разгул, пьяные ссоры, драки и убийства не редкость в таких зимовьях. Преимущественно в них таежная полиция—урядники и сотские—ищут бродяг, беглых, грабителей и убийц. Столкновение старателей и крестьян кончилось, должно быть, убийством, потому что во время ночлега в зимовье нагрянули власти. Сотские с фонарями в руках обходили спящих и, отворотив полы полушубков, которыми прикрывались постояльцы зимовья, внимательно всматривались в лица.

Сотские осмотрели и меня с Поспеловым, но и у них, так же как и у пристава, мы не возбудили подозрений.

После этого случая дальнейшая дорога шла без особых приключений. Мы благополучно добрались до уездного города Балаганска и на пароме переправились через

быструю, прозрачную Ангару. Оттуда тракт, на протяжении 45 верст, до самой Тырети пошел голыми бурятскими степями.

На далеком расстоянии одна от другой встречались деревни, зимовья бурят и снова тянулись степи, горы и сопки.

Степь казалась мертвой, безжизненной. Трава выгорела на солнце, побурела и сливалась с бурой, потрескавшейся землей. Иногда, с клекотом, неподвижно распластавши крылья, высоко в воздухе парил степной орел, зорко высматривая добычу, да быстро, прижавшись к гриве лошади, мчался бурят.

Впрочем, неподалеку от Тырети степь оживилась. На горизонте вдруг замаячили быстро приближающиеся точки конных бурят. Они правильным полукольцом окружили нас и, проехав рядом минут шесть, исчезли, растаяли в степи так же быстро и незаметно, как и появились. Наш возчик, при этом появлении, хладнокровно продолжал путь, хотя незадолго до этого буряты ограбили на дороге какого-то служащего и раздели до белья его, жену и ребенка.

В Тырети, в ожидании поезда, мы остановились у нашего возчика. Он истопил нам баню, и в то время, когда мы с наслаждением плескались горячей водой, к нему пришел сосед. Из предбанника к нам донесся их медлительный, неспешный разговор:

— Давно приехал?

— Утром.

— Привез кого?

— Двоих.

— А кто такие?

— Не знаю. Должно, политики.

Мы так и обмерли, не сомневаясь, что о приезде „беглых политиков“ станет известно всей деревне, уряднику и жандармам.

По счастью, мы ошиблись в сибиряках и благополучно вышли к поезду. На станции неизменный жандарм присматривался к подозрительным личностям и в сомнительных случаях проверял документы. Мы наверняка могли раскчитывать, что покажемся жандарму подозрительными, а мой паспорт навряд ли мог рассеять его сомнения. Так как прятаться от него было бы еще хуже, то Поспелов и я сами подошли к жандарму и стали расспрашивать его о времени отхода поезда. Жандарм, подозрительно оглядев наши лица и старательскую одежду (полуболотные сапоги, плисовая рубашка и широкие шаровары), решил, очевидно, что политики и не выглядят и не поступают так, как мы. Вследствие этого мы благополучно сели на поезд и доехали до Иркутска. Поспелов в нем остался для постоянного, хотя и нелегального жительства. Я решил тоже прожить некоторое время в Иркутске, чтобы возможная погоня не нашла меня на пути в Россию. Помимо этого, мне нужно было еще дождаться хорошего, подходящего по моим годам паспорта от волостного писаря из Тутуры. Этот паспорт мне было обещано выслать на ст. Зима, за Иркутском. В самом городе мне пришлось жить на нелегальном положении и каждый день искать ночлега.

Такие поиски не всегда оканчивались успешно, и однажды мне пришлось пойти в ночлежку. Ее хозяин, ссылаясь на распоряжение полиции, стал отбирать у всех ночлежников паспорта. Несмотря на все нежелание показывать свой вид, мне пришлось дать „фальшивку“. Я был уверен, что хозяин просмотрит все паспорта и сообщит обо мне, как о подозрительной личности. Но после не-

скольких, проведенных почти без сна ночей я был так утомлен, и мне так хотелось спать, что я решил рискнуть. Ночь прошла спокойно, а на утро хозяин ночлежки, возвращая мне паспорт, заметил лукаво:

— Ну, паря, долго ты проживешь!

— Почему?

— Да, вот, по паспорту тебе 47 лет, а на вид больше 26 дать нельзя. Долго проживешь.

Этим разговором инцидент был исчерпан, а вскоре я переехал на ст. Зима и в ожидании паспорта поселился у ссыльного Дрямова. Наконец, паспорт был получен, и я превратился в Николая Фроловича Бражникова, крестьянина Тутурской волости, несколько лет тому назад изчезнувшего неизвестно куда. Положение мое стало более или менее легальным, и я собрался ехать в Россию.

Ехал я в Россию товаро-пассажирским поездом „Максимом", на который жандармерия меньше всего обращала внимания. Да и по внешнему виду меня трудно было отличить от той массы люда, который тянулся с сибирских заработков домой, в Россию.

Всю дорогу радостное ощущение свободы не покидало меня. Даже пограничный белый столб у Челябинска, отделявший Россию от Сибири, Азии, не испортил настроения. Для беглых ссыльных существовала любопытная традиция наказаний за побеги: при переезде в другую волость — три месяца ареста; побег в пределах Сибири карался одним годом заключения, а за белым столбом бежавшему из ссылки наказание грозило в размере четырех лет каторжных работ.

Дальше Вятки „Максим" не шел, и мне пришлось пересесть в почтовый поезд. Там привязался ко мне какой-то шпик, расспрашивавший меня, куда я еду, и удивлявшийся, как это я еду в Питер, не имея там родных и

знакомых. Так как шпик почти не отходил от меня в течение всего времени пути, я, не доезжая 13 верст до Петербурга, спрыгнул с поезда у ст. Обухово. В одной из чайных мне пришлось оставить свою корзинку с вещами и по способу пешего хождения по шпалам направиться в Петербург.

День близился к вечеру, когда в блеске электрических огней встал передо мной город. Море огней переливалось, ширилось, росло, и скоро потянулись жалкие хибарки окраин. За годы каторги и ссылки мое воображение, даже мечты, создали из Питера светлый, радостный город. Действительность принесла разочарование: я шел по улицам и не узнавал их. Свет фонарей, торцы мостовых, многоэтажные громады домов, шум экипажей, гудки автомобилей, звон трамваев — все это ошеломляло, но казалось таким далеким и чуждым, как и нарядная, какая-то праздничная питерская публика.

Я не узнавал даже улиц, и вместо того, чтобы попасть к своему товарищу Павлову, которого я знал еще по подпольной работе, и который теперь, после смерти отца, стал владельцем кожевенного завода, вышел на далекие, окраинные улицы. Там снова потянулись старые, развалленные дома, и сквозь окна первых этажей можно было разглядеть семьи рабочих вокруг тощего ужина. Дальше уже шли железнодорожные пути, и итти было некуда. По обе стороны тянулись пустыри. Фонарики у пути неясно мерцали, и две блестящие полосы железа убегали в ту даль, откуда я только что приехал с такой радостью. Она невольно сменилась разочарованием и холодной пустотой.

...Поглядев на морозное небо, усеянное звездами, сверкающими холодным блеском, я улегся спать под откосом.

На рассвете меня разбудил какой-то босяк, одетый в невозможную рвань и трясущийся от холода утренних заморозков.

— Что, не проспался?— спросил он не без ядовитости в тоне.— Вставай, пойдем!

— Куда, зачем?

— Разве у тебя хмель еще из башки не вышел? Что петрушку валяешь! Идем на фарт. У меня уже два дня в животе пищит. Айда на рынок!

Я отказался от такого блестящего предложения и побрел в город. У дома Павлова меня ждало разочарование в лице откормленного и весьма представительного, толстого швейцара, стоявшего в дверях. Разглядев себя в зеркальной витрине, я уже знал, что меня—грязного, оборванного и обросшего, в странном для Питера приискательском костюме, ни один швейцар в мире не пропустит в барские хоромы.

Пришлось написать письмо и выжидать прислугу. Сидя в чайной, я увидал кухарку, выходящую из дома Павлова, и передал ей письмо.

Через десять минут важный швейцар вошел в чайную и спросил:

— Ты, что ли, писал барину письмо?

— Я.

— Ну, так иди за мной. Барин приказали тебя позвать.

Я пошел и попал, на глазах у удивленного швейцара, в об'ятия Павлова. После этого нечего было и мечтать о какой бы то ни было конспирации, так как черносотенная прислуга досталась Павлову по наследству от черносотенного папаши, и швейцар сообщил бы, конечно, куда следует о моем появлении. Но вопрос был разрешен очень просто. Павлов одолжил мне денег, и, побывав в бане, у парикмахера и в магазине готового платья, я пре-

образился настолько, что тот же швейцар не узнал меня в моем новом, господском виде и доложил обо мне Павлову, как о новом посетителе. У Павлова мне и пришлось остановиться.

Условия жизни, с которыми мне пришлось познакомиться в Петербурге, ничего, кроме разочарования принести, конечно, не могли.

Партийная работа велась слабо. Общественность, подавленная тяжелыми репрессиями, заглохла. После бурных, революционных лет наступила реакция, и властителями дум стали вчера еще неизвестные поэты-мистики и размножившиеся с невероятной быстротой писатели-эротоманы.

Те студенты, которые во время моего ареста были пылкими и деятельными революционерами, превратились теперь в благонамеренных чиновников, дорожащих тепленьким местечком. Многие из прежних товарищей перешли на легальное положение, обзавелись семьей и детьми и отстали от прежней работы. Другие же проводили время в почти ежедневном пьянстве и попойках.

Через несколько дней я решил переехать в Москву и остановиться у родственников Ем. Ярославского, Дилевских. Поезд пришел в Москву днем, часа в четыре, а к пяти я подходил уже к дому на Малой Бронной, где жили Дилевские. Старуха Дилевская, мать моей сопроцессницы, знавшая меня в лицо, открыла на звонок дверь и ахнула:

— Уходите скорее, ведь вас арестуют.

— Как, почему?— оторопел я.

— Да у нас семь суток была засада. Может быть, полиция поджидала вас. Они только что вышли из квартиры, но шпики кружат еще возле дома. Уходите скорее. Впрочем, нет, идите сюда скорее: переоденетесь и хоть кофе попьете.

Дилевская ввела меня в квартиру и заставила снять с себя все, вплоть до белья. Взамен этого от жившего у них журналиста Дилевская принесла мне все, вплоть до тросточки. Платье, белье,— все было необычайно широко и висело на мне, как на вешалке. Ограбленный журналист был на много ниже меня ростом, и поэтому мои руки и ноги, без всякого прикрытия, высовывались из рукавов и брюк. Крахмальный, отложной воротник, втрое шире моей шеи, делал меня похожим на сильно декольтированную девицу. К этому великолепию присоединились яркий галстучек и мягкая шляпа, сползавшая мне на глаза. Пиджак и брюки падали на живот широкими складками, и я недоумевал, почему в таком виде шпики не должны обратить на меня внимание. Но Дилевская уверяла, что в этом наряде меня никто не узнает и, подойдя к зеркалу, я убедился, что это, пожалуй, и так: я не узнавал самого себя. У ворот я увидал карауливших кого-то шпиков, принял беспечный вид щеголя, фланера и кутилы и, размахивая тросточкой, с важным видом пошел на шпиков. Не знаю, какое впечатление произвела на них моя фигура, но, во всяком случае, они дали мне уйти.

Один из шпиков долго и пристально смотрел на мои изумительные ярко-зеленые носки, красовавшиеся под куцыми, по икры короткими брюками. Благополучно выйдя из засады, я еле дождался обратного поезда и возвратился в Петербург. Положение там оставалось прежним, и мне пришлось ехать туда, где поглуше. Я попал в город Майкоп, Кубанской области. Здесь я пробыл около шести месяцев. Вел партийную работу, хотел устроиться на Туапсинскую железную дорогу для работы среди железнодорожников, но к этому времени за мной началась слежка, и пришлось уезжать. Снова началась кочевая жизнь.

Всюду, как следствие репрессий, шли обыски, аресты и провалы. В Киеве брат моего товарища настойчиво советовал мне на время уехать из России. Уже начались сборы, но я получил вести от политэмигрантов. Они писали, что им в ссылке жилось лучше, нежели в культурной Европе, где они умирают от тоски по родине и голодают.

Шел 1912 год. В Москве и в Петербурге при моем вторичном приезде шли массовые аресты и провалы, так что в Москве мне почти не пришлось останавливаться, а из Петербурга нужно было уезжать во что бы то ни стало. Один из разысканных мною товарищей, подпольный работник, посоветовал выехать в Астрахань, где у него жил тесть-генерал. Генеральша-теща в это время гостила у него. Товарищ рекомендовал меня ей, как своего давнишнего знакомого, и предложил ей вместе со мной выехать в Астрахань. Старуха не знала, что я беглый каторжник, обрадовалась случаю иметь знакомого попутчика, а я был рад такой попутчице, которая будет служить для меня громоотводом от шпиков.

* * *

А пока снова Петербург, ночевки в случайных местах, поиски адресов для этих ночевок, полулегальное, полуголодное существование, жизнь, полная опасений быть выслеженным и арестованным. Положение еще более ухудшилось, когда я отдал свой паспорт ссыльному, которому необходимо было бежать за границу. Жена этого ссыльного, тоже политическая, с больным ребенком на руках, уже успела бежать. Мужа и жену выследили, и паспорт был им нужен, как воздух. Превратившись в беспаспортного, я каждый день рисковал попасть в облаву и быть задержанным. Число адресов катастрофически сокращалось, и зачастую приходилось ночевать на улицах и скверах.

Еще в Киеве мне пришлось научиться проводить ночь на улице. В Петербурге пришлось возобновить это занятие...

...Вечер. Густой туман оседает на землю и раз'едает мокрый, талый снег. Из мглы ломаными бликами падает желтоватый, как будто маслянистый свет электрических фонарей. По мокрой, грязной панели, на мгновенье выходя из тумана, движутся силуэты торопливых прохожих. Мягко шурша резиновыми шинами по торцам мостовой, мчится невидимый в тумане автомобиль, и пятна фонарей расползаются в густой мгле. Кино и рестораны еще залиты постепенно потухающими разноцветными огнями. Публика, повеселившись, расходится по домам, где ее ждет вкусный ужин, спокойный сон в мягкой постели, чистое белье.

За саженными зеркальными стеклами ресторанов, под ярким светом многочисленных люстр, за столиками с белоснежными скатертями, с выхоленными, обрюзгшими, сытыми лицами, лениво жуют или медленно тянут вино посетители.

За спущенными занавесками на окнах домов мелькают силуэты людей. Иногда виден абрис женщины, поднимающей руки к распущенным волосам. Там, за этими занавесками, все блаженства спокойной жизни, уют семейной, мещанской радости. Эти люди не представляют себе, что значит из ночи в ночь бродить по улицам, беспрерывно кружась и ежась от холода, одиноко настораживаясь в беспокойной тиши города. Они не знают, что значит спать и даже во сне стеречь опасность, в ожидании ареста. Ночной звонок не заставит их похолодеть, и их сердце не забьется тревожно и часто.

Они проспят ночь спокойно и на утро проснутся вялыми и с неудовольствием будут рассматривать в зеркале отражения своих желтых, пухлых лиц...

...Четыре группы вздыбившихся лошадей и напряженных всадников рвут туман контурами своих форм. Под мостом угадывается линия Невы, скованной льдом. Вдалеке, у Исакия, красноватым светом теплится лампада. Бьют куранты. Туман клубится, и город становится призрачным и нереальным. Улицы пустынны, ночь близится к утру.

Где-то далеко раздается первый пронзительный гудок. Светает. Золоченый шпиль Адмиралтейства обнажается из мглы, и туман рассеивается. Ночь прошла...

...Таких ночей, когда опасно было даже зайти в чайную обогреться, было много, слишком много... Многие из политиков, бывшие на таком же нелегальном положении, в такие ночи сходили с ума, кончали жизнь самоубийством, заболевали манией преследования, и им везде и всюду чудились шпики. Я не хныкал и никому не жаловался, но и у меня нервы постепенно начали сдавать.

Товарищи по партийной работе деятельно начали раздобывать мне „вид". В этих поисках они рискнули обратиться даже к эсеру Василию Алексееву, служившему отметчиком на Путиловском заводе. Мне пришлось познакомиться с Алексеевым. Он рассказал, что скоро будет замещать полковника, ведавшего выдачей паспортов на заводе, и тогда смастерит мне документ. Тут же Алексеев предложил адрес Просветительного общества Нарвского района, где я, в случае нужды, разыщу место ночевки. Любезный Алексеев произвел на меня очень неприятное впечатление и внешностью и вкрадчивыми манерами белобрысого приказчика. Добросовестная партийность Алексеева была для меня под большим вопросом. Во всяком случае, я решил не пользоваться паспортом, полученным от Алексеева, и разорвал этот документ. Несколько времени спустя паспорт для меня достал рабочий завода Леснера, слесарь с Выборгской стороны. Пас-

порт был куплен за пять рублей у рыбного подрядчика и принадлежал крестьянину Новгородской губ. Степану Алексеевичу Архипову. Обычно при найме артели, подрядчики отбирали у рядившихся паспорта, и часть из них, либо из-за смерти владельца, либо еще по какой причине, оставалась у подрядчиков. Такой паспорт попал ко мне, но положение от этого не улучшилось. Среди беспрерывной слежки, не имея возможности, конечно, найти ни работы, ни службы, я все еще скитался по ночевкам или бродил по улицам. Предательство в лице дворников, городовых, шпиков, содержателей чайных, швейцаров, вообще всех, кому я мог показаться подозрительным, подстерегало на каждом шагу, и я чувствовал себя на положении зверя, которого травят.

Однажды после собрания, накануне от'езда в Астрахань, я долго разыскивал ночевку. Все адреса были исчерпаны. Шел мокрый снег. Кругом слякоть... Наконец, я отправился к знакомому товарищу Крюкову, жившему на Литейном проспекте.

Это была моя последняя надежда. И оказалось, что Крюков и его жена накануне уехали в Финляндию. Итти больше было некуда.

Мокрый, озябший, голодный, я долго шагал по грязным тротуарам, пока не решился воспользоваться адресом Алексеева. Просветительное общество Нарвского района находилось на Рижском проспекте, в доме № 60. Секретарь общества, вызванный мной, спросил, кто меня к нему направил за ночевкой, и попросил обождать до конца занятий. Он ввел меня в комнату, где уже сидело человек пять — шесть эсеров, и среди них девушка лет 16. Все они вели жаркий спор на политические темы и пили чай. Я принял участие и в том и в другом. Так продолжалось полчаса. Споры с эсерами показались мне

скучными, и я пошел разыскивать секретаря. Несмотря на то, что занятия с рабочими уже кончились, он снова просил обождать полчаса. Мне пришлось возвратиться к эсерам и приняться за второй стакан чая.

Но не прошло еще и получаса, обещанного секретарем, как дверь комнаты распахнулась, и помощник пристава об'явил всем:

— Вы арестованы. Выходи по одному.—И стал считать:—один... четыре... шесть... семь...

В дверях толпился конвой, и внизу под окном, можно было предполагать—тоже, поэтому пришлось примириться с тем, что я снова арестован. Все же я надеялся убежать на улице и вышел из комнаты, прихрамывая, предполагая, что это поможет мне отстать от конвоя. Но нас вели по центральным улицам, и о побеге нечего было и мечтать.

В участке, когда мы по крутой, деревянной лестнице взбирались наверх, мне удалось отстать от остальных. Пристав и сыщик принимали арестованных. Околоточный еще снизу крикнул:

— Ваше высокоблагородие, семь привели!

Полный, лысый, с бритым, геморроидальным лицом сыщик пытливо взглядывал в лицо каждого проходящего арестованного, а пристав считал. Когда я, ковыляя, поднялся наверх, он каким-то образом уже насчитал семь человек и сердито крикнул на меня:

— А вам что надо?

Но едва я только повернулся и сделал несколько шагов назад, арестованная девушка наивно раскрыла глазки и ротик и сказала:

— Да ведь он арестован вместе с нами.

Меня тотчас же вернули обратно. На общем допросе я показал, что пришел к секретарю наниматься на работу, но секретарь сделал крайне удивленное лицо и заявил:

— Неправда! Я его совсем не знаю.

После этого сыщик с приставом ушли куда-то на совещание. Вернулся один пристав, громогласно об'явивший:

— Вот этого хромого в одиночку. Смотреть за ним получше. Он—важная птица. Остальных отпустить.

Из узкой, вонючей, загаженной одиночки удалили кого-то из арестованных и втолкнули меня. Снова, как несколько лет тому назад, за мной захлопнулась тяжелая дверь, а перед глазами замаячил переплет толстой, густой решетки.

Глава VIII

В ПЕТЕРБУРГСКОМ ОХРАННОМ ОТДЕЛЕНИИ. НАЧАЛЬНИК ОХРАНКИ ФОН-КОТТЕН. ПРЕДВАРИЛКА

Поздно ночью два городовых, вооруженных маузерами, перевезли меня на извозчике в Коломенскую часть. Город уже спал, и по пустынным улицам изредка проходили запоздавшие прохожие или медленно тащились сонные „Ваньки". В окнах домов еще мелькали кое-где огоньки, и за каменными стенами чудился уют, покой сытого, обеспеченного дня. Там жили люди, уверенные в завтрашнем дне, довольные и не „бунтующие". Но я не завидовал их покою и сытости. Теперь у меня не было чувства злобы к этим людям, к их мещанскому благополучию.

В Коломенской части меня поместили в пустую камеру, очевидно, только недавно освобожденную. Там были нары на пять человек. Нары, пол, стены, — все было покрыто густой грязью. Вонь была такая же невыносимая, как и в Иркутской пересылке. Нервный под'ем, овладевший мной в момент ареста, усиливался все больше и переходил в необычайно воинственное настроение, твердую решимость не допускать на этот раз ни побоев, ни издевательств при допросах. Возбуждение долго не проходило, мысли теснились, и воспоминания, хотя и о горьких, но

все-таки вольных днях, сменялись предположениями о далеко не веселом будущем. Я прошагал по камере всю ночь и дождался бледного зимнего рассвета, забрезжившего сквозь запыленные стекла решетчатого окна. Рано поутру, надзиратель принес мне обед, верный признак того, что скоро предстоит перевод в другое помещение. Жизнь в части начала пробуждаться. Где-то захлопали дверьми, раздались чьи-то шаги и зазвучали отрывистые голоса. По коридору ленивой походкой протащился какой-то уголовный, должно быть, из уборщиков, и любопытно заглянул в открытую форточку моей камеры. Я попросил у него покурить и взамен махорки отдал свой обед, к которому и не притронулся. Вскоре меня отправили снова в участок, откуда новый конвой из двух городовых доставил меня в знаменитое охранное отделение. Я оглянулся в последний раз. Большие, железные двери широко раскрылись и с визгом и скрежетом захлопнулись, точно проглотили. В приемной городовые сдали меня жандармам. Сыщик, опознавший меня в участке, стоял тут же и, потирая руки, довольно захихикал:

— А, Архипов, хорош Архипов! Знаем-с, знаем-с, какой такой Архипов.

Прошло довольно много времени, прежде чем, наконец, я попал в кабинет, для допроса. Жандармский ротмистр, с бесцветным лицом, изъеденным оспой, и с несомненными следами сифилиса, предложил мне стул и портсигар.

— Ну-с, как ваша фамилия?

— Я уже сказал—Архипов.

— Зачем же врать: мы знаем, что вы проживали по подложному паспорту, но не знаем вашей настоящей фамилии. В конце концов вас опознают, но вам выгоднее сразу сознаться. Итак, как ваша фамилия?

— Архипов.

Жандарм сделал нетерпеливый жест, но сдержался и принялся „увещевать“. Но когда его доводы разбились о мою „закоренелость“, он безнадежно развел руками и принялся строчить протокол.

Папирос мне любезный жандарм больше не предлагал, но я решил действовать энергично: попросил снабдить меня папиросами на дорогу, что было им исполнено.

Раскуривая душистую папиросу, я уселся в карету охранного отделения и покатил в дом предварительного заключения.

Маленькая, закрытая каретка быстро домчала к предварилке. Было девять часов вечера. В тюремной конторе, пустой и скучной, началась процедура приемки. Дежурный помощник, производивший приемку, поднял голову и пристально всмотрелся в меня. Этот высокий, худощавый человек, с простым русским лицом, открытым и добродушным, служил в Петербургском централе, когда я отбывал там каторжный срок, часто заходил в камеру № 16 и лучше других относился к политикам. Во время русско-японской кампании ему снарядом оторвало обе ноги, и он ходил на протезах, но это несчастье не озлобило его. Теперь он узнал меня так же быстро, как и я его, но ничем не обнаружил этого. Только, когда при заполнении анкеты на вопрос, „как ваша фамилия“, я ответил— Архипов, по лицу помощника пробежала скрытая улыбка. На найденные при мне деньги он посоветовал сейчас же купить из лавки все мне нужное, так как иначе ордер на деньги попал бы ко мне очень нескоро. По его же поручению надзиратель отвел меня в чистую, недавно отремонтированную одиночку и немного погодя принес из лавки продукты. Одиночка предварилки почти ничем не отличалась от Крестов. Но вошел я в нее не так, как входил в одиночку в первый раз. Предыдущий стаж Крестов и ка-

торги выработал определенный навык, даже привычку к тюрьме. После скитаний, долгих, бессонных ночей и голода на воле мне показалось даже, что в одиночку я вошел с таким чувством, с каким возвращаются к себе домой, где все привычно и удобно. Почти в первый же день я выработал себе расписание дня и точно распределил часы занятий, чтения, гимнастики, отдыха и пр. На второй день мне удалось выписать и получить четыре книги, и жизнь потекла размеренно и спокойно. Единственно, что меня волновало — это то письмо, которое у меня стобрали при обыске в полицейском участке. В письме, полученном не по почте, один из членов семьи профессора Венгерова, с которым я был связан партийной работой, писал о времени своего выезда из Петербурга и, на случай каких-либо изменений, просил позвонить по телефону своей семье. Так как в письме был приведен и номер телефона, я боялся, что при дальнейшем запирательстве жандармы разыщут владельцев телефона, произведут у них обыск и найдут у Венгеровых мои бумаги, письма и дневники еще по Петербургскому централу. Безусловно, моя фамилия, таким образом, могла бы быть установлена, и Венгеровы могли бы пострадать за укрывательство. Поэтому я решил, что если жандармы догадаются повести поиски именно в этом направлении, предупредить дознание и открыться. Через пять суток после перевода в предварилку меня в той же каретке повезли в охранное отделение. Допрашивал на этот раз жандармский ротмистр Карнеев.

Полный, упитанный, раздушенный брюнет, он щеголял изысканностью манер, предложил мне стул и неизменную жандармскую папиросу. Допрос свелся к увещеваниям и уговариваниям. Я упрямо продолжал называть себя Архиповым, до тех пор, пока, после многозначительной па-

узы, Карнеев не вытащил из портфеля письмо Венгерова и торжественно спросил:

— Ваше письмо?

— Мое.

— Ну-с, так вы сами видите, что нам будет не трудно установить вашу фамилию. Кто вам писал письмо?

— Товарищ из Баку.

— Неправда. Именно в эти часы и в этот день поезд выходит из Петербурга.

— Что же из этого? Очевидно, эти часы совпадают со временем выхода поезда из Баку.

— Т-а-к-с,—несколько растерянно протянул Карнеев, видимо, не ожидавший такого ответа.—В таком случае, мы проверим... проверим...

Я не сомневался в том, как охранка проверит письмо, и решил, что упорствовать дальше бесцельно и опасно для Венгеровых.

— Так и не назовете своей настоящей фамилии? — снова, в десятый раз, испытующе спросил ротмистр.

— Ладно, назову, но при одном условии.

— При каком?

— Я напишу телеграмму, а вы при мне ее отправите и передадите мне расписку с телеграфа в получении и отправке.

Карнеев подумал и согласился. Я написал телеграмму в Сибирь по условному адресу условным текстом. Еще во время скитаний я сговорился, что в случае ареста буду телеграфировать по этому адресу, а оттуда известие сообщат Венгеровым. Когда телеграмма была написана, Карнеев передал ее курьеру, и мы стали ожидать расписки.

Я покуривал жандармские папироски, а Карнеев то перебирал бумаги, то принимался „увещевать“ меня. Наконец, принесли расписку.

Просмотрев ее, я назвал свою фамилию, процесс, по которому судился, срок каторги и время побега из ссылки. Карнеев, услыхав все это, чуть не подпрыгнул от радости и быстро застрочил протокол допроса. Окончив его, он достал небольшой ящичек с листками бумаги и, что-то в нем написав, передал листок курьеру. Минут через пять, пока я читал протокол, дверь отворилась, и в комнату вошел тощий, как скелет, старик. На его лысой голове с ровным пробором неживых волос сидел седой парик, а из-под седых бровей остро смотрели злые, стеклянные глаза. На лице, обтянутом сухой кожей, только эти глаза и выглядели живыми. Это был знаменитый начальник охранного отделения фон-Коттен. Он опустился в кресло, точно весь переломился и, уставившись на меня злыми глазами, тотчас же заговорил скрипучим, ржавым, неприятным голосом:

— Ну-с, молодой человек, я надеюсь, вы не прочь еще пожить. Мы отпустим вас и вы будете жить так, как вам захочется. Вы еще молоды и сумеете наверстать свое. Ведь вы еще, должно быть, и не пожили, как следует. Мы дадим вам эту возможность. Вы сможете жить, не стесняясь в средствах, у вас будут деньги, чтобы жить весело. Но вы должны будете, взамен этого, принять одно наше предложение. — Он сделал паузу и перевел взгляд на длинные пальцы безжизненно белых, как у мертвеца, рук. Даже длинные, твердые ногти на пальцах были синие, как будто они омертвели. Похрустев пальцами, фон-Коттен сказал более глухо и угрожающе подчеркивая слова:

— А если не согласитесь, помните, я вас сгною в тюрьме, сгною, сгною...

Мысль о смерти, которой меня пугал этот живой мертвец, показалась до того смешной, что невольно вырвалось ироническое и задорное:

— Ах, как страшно...

— Да, сгною... — не обращая на меня внимания, продолжал Коттен тем же глухим, скрипучим голосом. — Мы поручим вам продолжать работу в военной организации. Мы знаем, что социал-демократы, в особенности большевики, ведут деятельную пропаганду среди воинских частей Петербурга и Кронштадта и ряда крупных городов. Вы войдете в эти организации и будете давать нам подробные сведения о лицах, ведущих работу; за это, как я уже вам говорил, молодой человек, вы получите свободу и хорошую, да, очень хорошую награду. Проживать вы будете по паспорту Архипова, только, смотрите, не попадитесь прокуратуре...

— Послушай ты, дед, — возмущенно перебил я Коттена. — Нет таких денег, которыми вы могли бы купить меня. Такой продажной сволочью, как вы, я не был и никогда не буду!..

Карнеев в испуге откинулся в кресле, а Коттен злобно поднялся и, задыхаясь и глотая воздух, замахал руками. Жизнь как будто вернулась в его иссохшее тело, и он бросился бежать. В дверях он остановился и зашипел:

— Вы меня попомните, молодой человек... попомните... Сгною... сгною!..

После ухода Коттена Карнеев, несколько сконфуженный, все еще, однако, не угомонился и снова принялся уговаривать. Не слушая его, я устало отмахивался от назойливо сыпавшихся слов:

— Отстаньте, не приставайте... Оставьте меня в покое...

Наконец, Карнеев разочарованно вздохнул и закончил допрос.

Выходя из кабинета, я ожидал, что Коттен сдержит свое обещание, и на этот раз я безусловно подвергнусь

избиениям. Но мои опасения были напрасны, и я снова очутился в одиночке предварилки.

Месяц после допроса, больше никем не тревожимый, я числился за жандармским управлением. Коттен и помимо этого попробовал осуществить свое: „попомните, молодой человек...“, и пытался меня спровоцировать. Месяца через три дежурный надзиратель вызвал меня к себе расписаться в получении вещей, отобранных при аресте.

Кроме письма, у меня ничего не взяли, и я был немало удивлен, когда дежурный протянул мне два пакета с надписью на них красным карандашом: „Архипов Воробьев“. В одном пакете было письмо, действительно отобранное у меня при аресте; в другом же был собран целый ассортимент: письма, фотографии, прокламации, нелегальная литература, чековая книжка для сбора на партию и обойма патронов для маузера. Я принял письмо и тут же разорвал его, а от второго пакета отказался. Дежурный стал настаивать, но не соглашался, чтобы я уничтожил приписываемые мне вещи. Не подлежало никакому сомнению, что это были штуки Коттена и если я, расписавшись, признал бы тем самым вещи своими, — мне, кроме побега, инкриминировалась бы принадлежность к партии, и срок каторги был бы увеличен судом до 8 лет. Очевидно, Коттен придавал своей затее большое значение, так как уговаривать меня принять вещи пришел начальник тюрьмы. Он долго волновался, прежде чем понял, что уговорить меня ему не удастся. В конце концов я был вынужден повысить голос:

— Чего пристаете? Что признавать? Я уже травленый, не спровоцируете! Понимаю ваши штучки!

Начальник выкатился из одиночки, но Коттен, очевидно, на этом не успокоился. Меня вдруг вызвали в сыскное отделение. Там меня посадили в пустую, грязную камеру. Ее стены сплошь были испещрены заборной литературой

уголовных. Тут были и просто сообщения вроде: „Андрюшка Беспалов засыпался в малине 3 октября“ и любовные излияния, сопровождаемые нецензурными рисунками и забористыми стихами.

Через шесть часов из сыскного меня перевезли обратно в предварилку, и я долго строил предположения о том, зачем мне доставили такое своеобразное развлечение.

Жизнь в одиночке была крайне однообразна.

Из окна был виден клочок неба, противоположная кирпичная стена да заборы прогулочного двора. В предварилке на прогулку выводили в узкие щели между двумя высокими заборами. Таких щелей было нагорожено много, а над ними, под грибом, восседал дежурный надзиратель. Как только заключенный входил, калитка тотчас захлопывалась, и можно было только разглядывать почерневшие доски да небо над головой.

Сообщаться с кем-нибудь из заключенных политиков ни на прогулке, ни из камеры не удавалось. Тюремное начальство рассаживало заключенных в шахматном порядке: один политик, два уголовных. Я узнал об этом только потом, а первоначально удивлялся, почему никто не отвечает на мой стук. Однажды мне ответил политик из нижней камеры. Он сообщил мне, кто он, за что привлекается и рассказал, что брат Алексеева изобличен в провокаторстве. На следующий день на мой стук уже никто не отзывался. Должно быть, надзиратели услыхали стук и меры были приняты...

Я приручил двух голубей. Большой красивый голубь с голубкой садились на подоконник и первое время очень осторожно подбирали крошки, которые я высыпал через форточку. Постепенно птицы привыкли ко мне так же, как и я к ним, и клевали хлеб из рук. Голубь, как более смелый, садился на раскрытую ладонь и, воркуя,

звал голубку. Они прилетали четыре раза в день, в те часы, когда мне приносили пищу, и были до того точны, что по ним можно было бы заводить часы.

Если я почему-либо забывал о них, голубь стучал лапкой или клювом в стекло и своим круглым глазом высматривал меня в камере. Поев хлеба, птицы еще долго не улетали, расхаживали по подоконнику, чистили перышки и нежно ворковали. Их громкое воркованье принимало в моем воображении причудливые формы. Часто, когда я после обеда ложился отдыхать и легкая дрема овладевала всем существом, голубиное воркованье, как под наркозом, теряло свою реальность и, расплываясь, видоизменялось и превращалось по большей части в журчание ручейка, быстрого, холодного, прозрачного и искрящегося в лучах весеннего солнца.

Мутные стены камеры как будто таяли, изчезали, и в неясной дымке вырисовывалась свежая, ярко-зеленая, в сверкающих росинках трава. Под дуновением ветра листва деревьев мягко шелестела. Васильки, лютики и красные маки теснились на полянке и пламенели к солнцу. Из колокольчиков цветов вылетала на золотистых крыльях отяжелевшая пчела и с жужжанием скрывалась вдалеке. В весеннем, прозрачном воздухе, вдоль огненной линии луча солнца, роились маленькие, легкие мушки. Птицы, поворачивая головки из стороны в сторону, перекликались тоненькими, мелодичными голосами. Широколапые тени колыхались в легком ветерке. Из леса тянуло свежей прохладой и едва ощутимой сыростью. Телу становилось необычайно легко, невесомо, радостно. Казалось, будто весь растворяешься в лучах солнца, и полное, необычайное, гармоническое спокойствие овладевало сознанием. Радость, изумительное счастье переполняло, переливалось через край, причиняло сладостную боль.

Краски становились ярче, журчанье ручейка усиливалось все больше и заглушало остальные звуки, вытесняло все остальные представления.

И постепенно шум журчания сливался с огненными полосами, вращающимися все быстрее и быстрее. Полосы свивались, развивались, дробились на тысячи бешено вращающихся точек, и, наконец, воркованье голубей диссонансом врывалось в сознание с реальной ясностью.

Вокруг недвижно стояли муругие, твердые стены, и на фоне кирпичной стены, у стекол окна, разгуливал голубь и, воркуя, круглым глазом смотрел в камеру.

Ночью кошмар снова наваливался смутной, туманной, расплывчатой массой. Обрывки образов, бескрасочных картин, клочки разговоров мелькали хаотической, спутанной массой и сменялись чувством смертельной тоски, желанием стремительно вырваться и бежать от какой-то грозящей, неминуемой опасности. Часто во сне я задыхался от стремительного бега, когда от ужаса ноги не прикасаются к земле, а как будто летят по воздуху. И вдруг, точно толчок или яркая молния, пронизавшая мозг, заставляют проснуться. Иногда без видимой причины я просыпался с мыслью, что жизнь ужасна, омерзительна, гадка, гнусна, и что дальше жить так бесцельно—ужасно, невозможно... Страх перед жизнью леденил мозг; сердце билось так учащенно, точно рвалось из грудной клетки, и крупные капли холодного пота покрывали лоб. И другой страх, еще более ужасающий, кошмарный — страх умереть, перейти в небытие, исчезнуть в темном провале, медленно просачивался в сознание, овладевал им и постепенно, в долгие часы бесконечной ночи, вытеснял страх перед жизнью.

С лучами рассвета, вползающего в одиночку сквозь переплеты решеток, каждая клеточка тела и мозга буйно радовалась жизни.

Нет, жить, жить! Тени ночи исчезали, день занимался, и жизнь казалась прекрасной. Из-за стен тюрьмы манила надежда борьбы, победы... Но после таких ночей я понимал самоубийц, и мне казалось, что именно в такие часы человек в состоянии перейти грань между жизнью и смертью...

* * *

Перед юбилеем дома Романовых одиночки были все переполнены так называемыми политическими. Это были люди, не имевшие никакого отношения ни к политическим партиям, ни к политике вообще. Они были захвачены так, „по подозрению", как часто формулировались тогда жандармами причины арестов.

Можно, не ошибаясь, предположить, что эти политические в кавычках были заготовлены охранкой впрок для предстоящей амнистии.

Когда наступил торжественный день юбилея, надзиратель вошел в мою камеру с полусдобным пирогом, колбасой и, видимо, тщательно заученной речью:

— Его величество, государь император всероссийский, посылает вам этот пирог в ознаменование великого и торжественного дня 300-летия дома Романовых.

Я схватил пирог и бросил его на пол.

— Какое великодушие. Пусть „его величество" сам лопает свой пирог...

Надзиратель молча подобрал обломки „величественного" пирога, но, очевидно, не доложил о моем поступке по начальству, так как я не был наказан. Однако, „монаршая милость" не ограничилась пирогом. К полдню подали лучший, нежели всегда обед, а к вечеру после „боже, царя храни" об'явили амнистию всем политическим в кавычках.

Политические без кавычек ни амнистии, ни скидки со сроков, конечно, не получили. Этот юбилей был, кажется,

единственным развлечением за все время моего пребывания в предварилке.

На второй месяц заключения меня повезли в Окружной суд к следователю на допрос, который длился очень недолго, так как дело о побеге было очень простое. Следователь, помимо протокола, составленного в жандармском управлении, спросил только, откуда я достал паспорт на имя Архипова. Ответ, что паспорт был куплен на рынке, не удовлетворил следователя.

— Как, разве на рынках продают паспорта?

— Пойдите, спросите, может быть, и вы купите.

Это не понравилось следователю еще больше, и он постарался поскорее закончить допрос. Немного погодя, меня еще раз возили в суд к следователю, где меня поджидал тот самый пристав Нарвского участка, который едва не выгнал меня из части. Пристав поклонился мне, как знакомцу, а следователь спросил:

— Этот?

— Точно так, этот самый.

— Ну, вы оба свободны, — без тени иронии сказал следователь, хотя о моей свободе красноречиво говорили обнаженные сабли двух конвоиров. 22 июня я получил короткий обвинительный акт, а 13 июля поехал в тот же Окружной суд предстать перед „недремлющим оком правосудия" жандармов и охранки. Ехать пришлось в уже знакомом собачнике в компании хотя и молодых, но уже стажированных воров-рецидивистов. Они рассказывали о себе ряд занятных историй из своей практики. Они были „домушниками", обворовывали квартиры и однажды обокрали дачу Трепова, несмотря на то, что она тщательно охранялась. К их удивлению, поживились они очень немногим, только кое-какими ценностями, вроде кавказского кинжала с рукояткой, украшенной бриллиантами, подаренного Трепову Николаем II.

Случайно воры захватили еще у Трепова переписку каких-то политических и чистые бланки жандармского управления. Из дальнейшего разговора выяснилось, что эти же воры обокрали меня в то время, когда я, живя на пустой квартире уехавшего в Америку прис. пов. Ильина, пошел с его секретарем гулять. Воры унесли у нас все, даже мандолину. Узнав теперь, что они обокрали именно меня, воры извинялись:

— Знай мы, что вы там живете, нипочем бы не сделали этого. Вы уж простите. Если на волю выйдем, беспременно деньгами вам перешлем.

Не знаю, чем кончился их суд, но обещания своего они не исполнили. Суд надо мной прошел очень быстро. Председатель также полюбопытствовал, откуда я достал паспорт. После этого ни он, ни заседатели не имели ко мне вопросов. После того, что я признался в побеге, прокурор и казенный защитник отказались от речей, и через несколько минут суд вынес приговор, по которому я получил три года каторги.

После суда я просидел в предварилке три месяца на положении подследственного, имел право ходить в своей одежде, а надзиратели все еще говорили мне „вы". Со дня ареста, происшедшего 17 декабря 1912 года, я просидел в предварилке одиннадцать месяцев, до октября 1913 года. В одиночке пришлось пережить все четыре времени года. Особенно тяжело было сидеть в тюрьме весной, когда воля звала и манила к себе тысячью голосов, и первое время после суда, когда мучила и томила неизвестность, в какую каторжную тюрьму забросит на этот раз судьба, каким порядкам придется подчиняться, какой произвол нужно будет безропотно переносить...

Глава IX

КАТОРГА. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТРАЛ. ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ

Ненастным, октябрьским, по-питерски дождливым вечером перевезли меня из предварилки в централ. Той же узкой тюремной калиткой, через которую несколько лет тому назад я выходил на волю, в ссылку, пришлось теперь входить в каторжную тюрьму.

В ней все было попрежнему, как будто я покинул ее только вчера. Даже приемку производил все тот же „Холера", неизменно пьяный. Даже полбутылка с красным горлышком попрежнему торчала у него из кармана. Старший надзиратель по цейхгаузу встретил меня почти радостно, точно мое возвращение в централ казалось ему неизбежным.

— А, Воробьев, опять к нам! Где же до сих пор были?— И оглянулся вокруг, пригнулся к уху и быстро зашептал:— Подождите в цейхгаузе, не торопитесь переодеваться. Я вам чистенькую одежду подберу.

Тем же возгласом:—А, Воробьев? Что, опять сюда попал?— иронически злобно, точно блудного сына, встретил меня старший надзиратель Павлов. В цейхгаузе, поджидая „чистенькую одежду", я сел на лавку. Сосед, старик, тоже ждущий своей очереди, долго вглядывался в меня и вдруг узнал:

— Воробьев, неужели это вы?

Это был Лалаянц, отбывший каторжный срок в Шлиссельбургской крепости и пересылаемый теперь в ссылку.

Он был первым и последним, кого я увидал в централе из товарищей по камере № 16. Быть может, случайно, быть может, по старой памяти, Холера назначил меня в ту же камеру № 16. В ней было все по-старому, не было только прежних товарищей, с которыми так легко и быстро прошел первый каторжный срок. Теперь среди уголовных не было ни одного политика. Но когда за мной захлопнулась решетчатая дверь камеры, трех лет ссылки и воли как будто и не бывало, и этот промежуток времени казался чудесным, но несбыточным сном. Я чувствовал себя так, как будто и не выходил из камеры. Память с пунктуальной точностью восстановила все тюремные привычки, по-тюремному изменила манеру двигаться, разговаривать, даже мыслить. На следующее утро я, чисто механически, пошел к той койке, на которой спал три года тому назад и очнулся только тогда, когда после умывания чуть было не провел по лицу чужим полотенцем, висевшим над койкой. Новым в централе был только режим, в особенности тягостный по отношению к уголовным и поневоле распространявшийся и на меня. На утренней же поверке оказалось, что по вновь заведенному Аракчеевым правилу строиться для поверки нужно было „в ранжир", т.-е. по росту. Когда я стал, где мне хотелось, уголовные принялись уговаривать не делать этого, так как за несоблюдение строя „в ранжире" полагалось две недели темного карцера. Поверку производил старший помощник Ионов, здоровенный верзила с мясистым, полным, налившимся кровью лицом и бессмысленными, оловянными глазами. Он был невероятно тупо жесток с арестантами и, как говорят, боясь их мести, носил пан-

цырь под форменной курткой. Арестанты за виртуозную ругань и побои называли его — „хулиган". Ионов сразу заметил беспорядок в строе и, побагровев еще больше, накинулся на меня:

— Это что такое? Как твоя фамилия?

Отделенный, сопровождавший Ионова, испуганно засуетился и зашептал:

— Скорее стань по ранжиру! Ваше высокоблагородие, он — новичок, не знал. Сейчас встанет.

— Нет, не стану. Буду стоять там, где мне вздумается.

— А-а-а,— побагровел Ионов. Сжимая кулаки, он подскочил ко мне почти вплотную.— Ты кто — политик?

— Политик.

Ионов круто повернулся на каблуках и, не докончив поверку, выбежал из камеры. Уголовные замерли и были убеждены, что сейчас же меня поведут в темный карцер. Раздались соболезнующие возгласы, и мне стали показывать, куда нужно спрятать табак. Махорка и головки спичек были зашиты в пояс кальсон, и все стали ждать, когда я получу возмездие. Но прошло время чая, обеда и ужина, и за мной все еще никто не приходил.

На утренней поверке следующего дня я снова встал не по ранжиру, но уже другой помощник не сказал мне ни слова.

После чая у дверей появился Ионов и вызвал:

— Воробьев

— Я.

— Ты был у нас раньше?

— Был.

— Значит, ты — старый каторжник, должен все порядки знать и соблюдать правила. Значит, должен для других примером служить. Почему правил не соблюдаешь?

— Я исполняю все, что требуется по инструкции, но в глупый ранжир не стану.

— Что-о? Что такое? Да ты как со мной разговариваешь! Как ты мне отвечаешь! Забыл разве, что нужно отвечать: „никак нет“ и „точно так“. Ты смотри, ты не забывай, что ты каторжанин!

— Я не забываю этого, но не забываю и человеческий язык. Чего вы ко мне пристаете? Я не нарушаю правил, не хулиганю...

— Что ты сказал? Не... хулиганишь...— Ионов поперхнулся ненавистным для него словом, сочтя его за намек на свое прозвище, и, багровый как кумач, быстро убежал. Арестанты не могли удержаться от смеха и возбужденных реплик:

— Ловко вы его отбрили...

— Не любит!

— Что говорить, хулиган ему прозвище, хулиган и есть на самом деле...

— Ай да молодец, Воробьев! Ну, сидеть вам теперь не две недели, а месяц.

— Н-да, месяц, как пить дать.

— Он вам задаст за хулигана.

И камера с еще большим любопытством стала ждать, когда меня поведут в карцер. Но в карцер меня не повели ни в этот, ни в последующие дни. Зато я попал „на замечание“ начальства, и тихий „ранжирный бунт“ принес мне впоследствии большую пользу.

Дня через два после инцидента с Ионовым меня перевели в другую камеру, № 17, по этому же коридору. Вскоре сюда принесли уже трепленные канаты и об'явили, что каждый каторжанин обязан за день исполнить урок и сплести одну пару лаптей из бичевы.

За лапти обещали платить по девять копеек за пару, и на эти деньги можно было брать продукты из лавки. Тех, кто не исполнит урок, обещали наказывать темным карцером. Арестанты-„инструктора“ из других камер тотчас же принялись сучить пеньку и показывать, как нужно плести. От пеньки поднялся ворох мелкой пыли, и эта пыль, не оседая, долгие дни столбом стояла по всей камере. Каторжане задыхались, чихали, кашляли, проклинали тюремное начальство „в веру, в бога, царя, закон, мать, гроб, печенку“, но сучили пеньку и поневоле плели лапти. Для старых каторжан было ясно, что после нескольких месяцев такой работы всему населению камеры не миновать туберкулеза. Но уголовным трудно было сговориться, чтобы сообща протестовать. Каждый в отдельности проклинал губительную работу, но вместе с тем каждый боялся попасть в темный карцер. Было еще одно, на первый взгляд, незначительное обстоятельство, которое мешало уголовным выступить солидарно. Они не имели передач, денег им тоже никто не присылал, а на те копейки, которые тюрьма платила за лапти, из лавки можно было к концу месяца выписать и табак и чай с сахаром. И несмотря на то, что на плетение пары лаптей нужно было затратить почти весь день, среди уголовных находились такие искусники, которые в погоне за ничтожным заработком ухитрялись сплести до трех пар в день. В таких условиях мой единоличный отказ от работы не мог дать реальных результатов. Камера все равно была бы наполнена пылью, разъедающей легкие, а сиденье в темном карцере в одинаковой мере губительно отражалось бы на здоровье. Приходилось думать о том, каким образом добиться перевода в другую тюрьму. Но путь к этому был один: совершить какой-нибудь дисциплинарный проступок, из-за которого каторжане зачислялись в разряд неиспра-

вимых. Но путь этот вел большей частью в Орловский централ, где свободолюбивых каторжан исправляли розгами; если не могли выбить из каторжанина вольный дух, забивали на-смерть. По счастью, тюремное начальство, после „ранжирного инцидента“ с Ионовым, косо посматривало на меня и, очевидно, решило избавиться от слишком непокорного каторжанина, да, кроме того, еще и политика.

25 декабря меня и еще нескольких уголовных отправили в Шлиссельбургскую крепость. Петербург был в этот день по-праздничному безлюден и пуст. Так же пусты были и вокзал и поезд.

От маленькой станции, куда мы попали к вечеру, нам пришлось итти пешком, и скоро мы ступили на лед. Перед нами невдалеке виднелась Шлиссельбургская крепость. Из-за кольца длинных и бурых крепостных стен виднелись мрачные кирпичные коробки корпусов тюрьмы. Белым, нерадостным пятном выделялась церковь. Оттуда неслся торжественный, праздничный благовест. И этот переливчатый, захлебывающийся звон только еще более усиливал впечатление лжи при виде сверкающего креста, осеняющего мрачные тюремные корпуса крепости. Над ее огромными воротами, через которые нам пришлось проходить, висела небольшая доска с лаконической, но выразительной надписью: „Царская“.

И все же последующие впечатления были отраднее первых. Уже при приемке не было той грубости в обращении и бессмысленных окриков, которые были введены Аракчеевым в Петербургском централе как прочная система издевательства над арестантами.

При разверстке я и здесь попал в камеру № 16 нового корпуса на втором этаже. Здесь было несколько политических: матрос Андреев, принимавший участие в Крон-

штадтском восстании, веселый и общительный человек, латыш Копач,—по делу организации Прибалтийского края, Гольев и Житный,—сопроцессники по делу украинских эсеров, Жвирблис,—по делу террористов-максималистов. Общение с ними, после долгой разобщенности с людьми, близкими по духу, доставляло мне большое удовольствие. Да и весь режим крепости не был так педантичен, как в Петербургском централе. Хотя полы в камере и не сверкали, как у Аракчеева, но зато их не нужно было натирать четыре раза в день. Надзиратели не кричали на каторжан из-за каждого пустяка. Тех, кто об этом заявлял, пускали на работы во дворе, в столярные и слесарные мастерские. Иногда удавалось даже попадать на хозяйственные работы вне крепостных стен.

Это было для каторжан большим развлечением. Наслаждение, которое доставляла косьба травы за крепостными стенами, было ни с чем несравнимо. Надзиратели, которых начальник тюрьмы не доводил до зверского состояния, сквозь пальцы смотрели на то, как каторжане на несколько минут ложились на землю и наслаждались запахом весенней травы и видом голубого, облачного неба. В то время, когда в крепость привозили запасы продуктов, каторжане охотно шли на разгрузку и перевозку товаров. Несколько человек впрягались в оглобли полка и тащили на себе многопудовый груз, перенесенный тоже каторжанами. За такую работу тюрьма платила каждому селедкой, и это было тоже очень соблазнительно.

С латышом Копачем, который был хорошим слесарем, я работал по выделке сеток для кроватей. Копач быстро выучил меня этому, и мы зарабатывали до пяти рублей на человека в месяц.

Верхней теплой одежды для работающих во дворе не полагалось, и в самые лютые морозы каторжане приплясы-

вали от стужи в легких бушлатах. Несмотря на это, все стремились поразмяться после почти неподвижного сидения в камерах. На прогулку выпускали по нескольку камер вместе, и это давало возможность общаться с политиками, не прибегая к стуку.

Библиотека была довольно сносной по подбору книг и по количеству. Среди политиков существовало правило, что каждый уходящий из крепости должен оставлять в библиотеке принесенные с собой книги. Поэтому в крепости всегда были относительно свежие книги. Были даже запрещенные издания в обложке благонамеренной литературы.

Но на ряду с относительной свободой, каждый каторжанин, заключенный в Шлиссельбурге, чувствовал на себе тяжелый, давящий гнет крепости. Полная изолированность от всего внешнего мира, невозможность сноситься с волей, поле зрения, вечно ограниченное крепостными стенами,— все это пригнетало и давило, как и репрессии, которые применял к каторжанам начальник крепости Зинберг. Он, хотя и ревностный служака, но неглупый человек, не придирался к заключенным по пустякам, не любил создавать историй, но если ему казалось, что кого-нибудь нужно наказать или „исправить“, он наказывал самым жестоким образом. Наказания меньше месяца темного карцера в Шлиссельбургской крепости не было, и, конечно, все карцеры всегда были заняты. Зимой карцер был равносилен смертному приговору. В подвалах, в которых помещались карцеры, температура всегда была ниже нуля, и сырость, стекавшая по стенам на пол, превращала камеру в ледяной гроб. Заключенный, брошенный в карцер в одном бушлате, вынужденный спать на голом полу, беспрерывно замерзал. Чтобы хоть немного согреться, заключенные круглые сутки прыгали, танцовали и дико вопили, надеясь, что крик их согреет, заглушит ощуще-

ние нестерпимого холода и постепенного окоченения. При пище —2 фунта черного хлеба в день холод становился еще чувствительнее. Когда, через третьи сутки на четвертые, карцерника выводили из темного помещения на прогулку, заключенный был похож на выходца с того света. Зачастую таких заключенных надзиратели должны были вести под руки.

В карцерах другой башни, называвшейся „башней Бирона", заключенные задыхались и изнывали от тропической жары.

В подвале этой башни стоял котел парового отопления для всей крепости, и центральная труба, по которой проходил пар, шла через карцерное помещение. Заключенный в карцере исходил потом, багровел от прилива крови, мучился невыносимой жаждой.

Воды давали только одну кружку, и среди ужасающей жары эта вода становилась противно-теплой и только раздражала, а не утоляла жажды. Те, кто выходил из таких карцеров, были бледными тенями, обреченными на верную смерть.

Врач крепостной тюрьмы был редким исключением из обычного типа тюремных врачей, абсолютно равнодушных к здоровью каторжан.

Не имея возможности в чем-либо изменить режим крепости или добиться сокращения сроков наказаний, доктор стремился помочь каторжанам хоть как-нибудь перенести тюремную жизнь.

Он часто ездил в Петербург, обходил всех своих знакомых, распространял подписные листы и собирал деньги, на которые покупал рыбий жир и селедки для заключенных. Появляясь с багажом у небольшой пристани Шлиссельбургской крепости, доктор еще издали кричал, расплываясь в широкой, радостной улыбке:

— Ура-а-а! Рыбий жир есть. Селедки приехали.

Рыбий жир был очень низкого сорта, по целой селедке на арестанта никогда не приходилось, но то, что доставал доктор, спасало многим каторжанам здоровье и жизнь. Тех, кому нужно было отдохнуть, поправиться, доктор охотно принимал в больницу. В особенности тщательно ухаживал он за перенесшими месяц темного карцера. После долгой войны с Зинбергом, доктору удалось добиться действительно улучшенного питания для больных, и больница была каким-то оазисом для заключенных в крепости.

Несмотря на полную изолированность, вести о войне проникли к каторжанам довольно быстро. Война оживила заключенных, вывела из состояния невольной апатии. Не только политики, даже уголовные и надзиратели рассуждали о войне, бранили начальство, царя и министров, вовлекших страну в войну. Общность темы, одинаково всех волновавшей, привела к тому, что надзиратели несколько ослабили свою бдительность, охотно говорили с политиками о войне, даже приносили в крепость газеты. Благодаря этому мы знали многое, о чем умалчивал „Военный Вестник", официально раздававшийся заключенным. Знали мы даже о стачке, возникшей после об'явления войны. Известия о первых поражениях этой позорной войны послужили предметом оживленных споров, даже дискуссий во время прогулок. Тотчас же наметились резкие разграничения и партийные группировки на „оборонцев" и „пораженцев". Только немногие из политиков четвертого корпуса, как например, Канторович, осужденный по делу восстания Черноморского флота, оценивали войну во всей ее полноте. Старик Канторович, осужденный первоначально к смертной казни, замененной вечной каторгой, обладал удивительно ясным прогнозом надвигающихся событий и точно определил, что эта

война является всемирной по результатам будущего и предвестницей грядущей мировой революции.

Тот революционный под'ем, который с воли доносился к нам через стены крепости, волновал и нервировал всех политиков. Мы чувствовали, что борьба нарастает, ширится, и тем больнее было сознание своего бессилия и беспомощности. Уголовные по-своему радовались войне. Они ждали, что война, во всяком случае, сократит им сроки наказания. При победоносном заключении мира они надеялись получить скидки со сроков каторги, при поражениях и революции — выйти на свободу. Но беспрерывные отступления и поражения возмущали уголовных, и они, как и надзиратели, толковали об изменах, предательстве немки-царицы и продажности министров. Надзиратели, не стесняясь, громко разглагольствовали об этом с заключенными и даже ругали Николая.

Вскоре после об'явления войны из крепости послали в Петербургский централ 150 человек. Попал в это число и я. Везли на этот раз на пароходе по Неве.

В Петербургском централе заключенные уже изготовляли противогазные маски, и нас, очевидно, послали из крепости для каких-нибудь работ на оборону.

На следующее утро после приезда Аракчеев выстроил всю партию и стал спрашивать, кто чем занимался на воле. Среди ответов: столяр, плотник, сапожник, маляр, кузнец и проч., мой ответ:— Занимался революционными делами—заставил Аракчеева сделать неприязненную гримасу, и через сутки я с несколькими уголовными снова попал в Шлиссельбургскую крепость.

На этот раз меня поместили в камеру № 14. Здесь сидели одни уголовные, долгосрочные каторжане, большей частью одни старики, попавшие на каторгу по тысяче нелепых причин.

С каждым месяцем войны жизнь в крепости становилась все более и более тягостной. Нарастающее революционное движение манило на волю все с большей силой, и нервы у заключенных политиков испортились вконец. Кроме того, с вздорожанием жизни кормить стали очень скверно. Да и что можно было приобрести в 1915 году на 11 копеек, полагавшихся на одну арестантскую душу.

Каторжный срок для меня близился к концу. За несколько месяцев до его окончания меня снова перевели в камеру № 14, а в мае 1915 года я вышел из Шлиссельбургской крепости.

Глава X

ОПЯТЬ В ССЫЛКУ

После окончания срока каторги из Шлиссельбургской крепости меня направили в петербургскую пересыльную тюрьму и дальше, по этапам, уже знакомой дорогой в ссылку.

Рис. 5. Александровский централ

Опять тягостные месяцы перекочевки из тюрьмы в тюрьму. Грязь, вши, зловоние, голод. Иркутская пересылка. Александровский централ.

Наконец, в одном селе у Лены партия арестантов была разбита на две части и погружена на паузки.

После зловония тюрем особенно прекрасными казались величественные берега Лены. Дни шли легкие и радостные. Воздух и простор без конца опьяняли, бодрили.

Так, все время среди гор и тайги, проплыли Киренск, Витим и 10 сентября, после месячного пути от Иркутска, прибыли в Якутск.

На второй день после моего приезда в Якутск, в тюрьму пришел ко мне Ем. Ярославский с женой, тоже из ссыльных.

Он принес мне теплую бурку, теплое белье, провизию и 10 рублей денег. Впоследствии, во время странствований по Алдану, часто с теплым чувством благодарности вспоминал я Ярославского.

Он буквально спас меня от мороза и облегчил тяжесть голодовок.

Партия ссыльных постепенно стала уходить из Якутска. Назначались они в окрестные села за семь или самое большое 15 верст от Якутска. Только один ссыльный получил назначение за 150 верст от города.

Меня же, без сомнения, по протекции петербургской охранки и фон-Коттена, назначили на Алдан, в селение Петропавловское,—такую глушь, куда вели только оленьи и заячьи тропы.

17 сентября по снегу я вышел из Якутска.

Перед отправкой в ссылку я пытался узнать, где находится Петропавловское, место моего будущего жительства, и что оно из себя представляет. Кого я ни спрашивал об этом, все отвечали как то неопределенно.

— Село Петропавловское? Да, слыхал. Верстах в шестидесяти или семидесяти от Якутска, а может быть и больше. Вообще, глушь порядочная...

Впоследствии я, так сказать, на собственных ногах убедился, как неверно было представление у моих собеседников о расстоянии. От Якутска до Петропавловского

оказалось около 500 верст, и то по счету якутов, у которых все расстояния определяются на-глаз.

Когда я выходил из тюрьмы в ссылку, в качестве конвоира и провожатого — одновременно, дали мне молодого якутского казака Ваньку, как он себя называл. Это был парнишка, пришедший в Якутск призываться, забракованный в присутствии и теперь возвращающийся в родное село Усть-Омгу, расположенное неподалеку от Петропавловского.

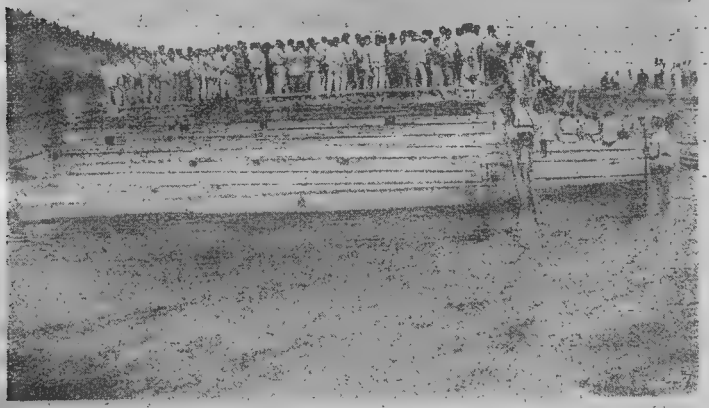

Рис. 6. „...У Лены партия арестантов была погружена на паузки."

Ваньке, как моему конвоиру, выдали мои сопроводительные бумаги и берданку, у которой, как оказалось, был только один патрон. В Якутске за 40 рублей Ванька купил для дома лошадь, которую мы навьючили своими вещами. Наша дорога шла на селение Амгу, по почтовому тракту. За Амгой тракт обрывался и переходил в едва заметные тропы по подмерзшим болотам и кочкарнику. Дорога шла все время по девственной тайге. Из-за болотистого грунта

движение по этому пути было возможно только зимой; летом же всякое сообщение с селениями за Амгой прерывалось. Политических туда вообще не ссылали, в виду уж очень большой отдаленности, дикости края и отсутствия какой бы то ни было возможности для ссыльных получить заработок и существовать.

В день моего выхода из Якутска стояла хорошая, солнечная погода. Слегка подмораживало. Взяв лошадь под уздцы, Ванька повел меня к переправе. Как мы ни кричали в пространство, вызывая другой берег,—переправы не было. Ве рело, и, как всегда в Сибири, сумерки стали быстро наступать. Возвращаться в Якутск не было никакого смысла, и я предложил конвоиру заночевать в стоге сена, стоявшем неподалеку от берега. Ванька оглянулся кругом на пустынный берег, посмотрел на меня и боязливо спросил:

— А ты меня не убьешь?

Я невольно рассмеялся.

— Да ведь у тебя берданка.

— Что ж, что берданка... Ночью убить можешь. Пожалуй, останемся спать, а ночью ты меня убьешь...

— Я политический, а политические такими делами не занимаются. Да и зачем мне тебя убивать: ведь сам видишь, что бежать все равно некуда и незачем.

— Н-ну? Правду говоришь? — обрадовался Ванька и принялся разгребать в стоге ямку для ночлега. Через несколько минут, уже укладываясь спать, он еще раз посмотрел на меня просящими глазами:

— Будь друг, не убивай, пожалуйста. Я еще очень молодой, жалко, если убьешь. Дома жена плакать будет...

Мы уснули, но ночью пошел сильный дождь, и нам, промокшим и сонным, пришлось выбраться из сена и снова искать переправы.

Сквозь хмурые, застлавшие небо черно-серые облака, уже пробивался рассвет. К берегу вскоре подошли еще ссыльные, направлявшиеся в Амгу: политический Белошицкий и три уголовных — какой-то татарин из киргизских степей и еще два человека. Небольшой паровой катер, на котором мы должны были переплыть Лену, принадлежал, должно быть, к числу музейных редкостей. Механик катера долго разводил в небольшом котле пары, но катер не двинулся с места. Ванька досадливо почмокал, тихонько выругался и решил итти искать другую переправу. Прежде чем удалось ее найти, пришлось пройти по берегу еще версты три. Якуты на больших лодках, „отпехиваясь" шестами, перевезли нас через Лену, достигавшую в этом месте 8 верст в ширину, и наша небольшая партия двинулась по тракту.

В сущности, эта была широкая тропа, вьющаяся среди тайги. Крайний север чувствовался во всем. Деревья в тайге, ели и лиственницы, были мелки и редки. Невысокие кряжи гор, вернее сопок, перерезались лощинами с руслами быстрых, кипучих речек. Воды небольших озер, как в зеркале, отражали серое, пасмурными облаками затянутое небо.

Воздух был неподвижен и казался таким же бледным, серым и безрадостным, как и хмурые облака. Бесцветная, в бледных, серых красках тайга была безжизненна и мертва. Ни один звук не нарушал этой тягостной тишины. Изредка по пути попадались белки, прыгающие с ветки на ветку, да иногда высоко в воздух взлетали стаи куропаток и рябчиков. Временами местность принимала совершенно фантастический характер. Тайга была изрыта колоссальными воронками в одну и две версты диаметром. На дне воронки блестело озеро, а по скату лепились юрты. Встречались озера правильной, почти четырехугольной формы, напоминающие искусственные пруды. Юрты были разбро-

саны на большом расстоянии одна от другой, и только иногда встречались „чумы“ — две-три юрты вместе. В первый же день пути, лишь только отойдя от Якутска, мы не слышали больше русской речи. Якуты, встречавшиеся по дороге, приветствовали нас на своем, таком же бедном, как и сама природа, языке. У них не существовало слов для выражений оттенков понятий или представлений. Одно слово заменяло целую фразу.

Любопытный как ребенок, якут, завидев нас, вынимал изо рта трубку, разглядывая всех маленькими бегающими глазками, останавливался и говорил:

— Капсе!

Это одновременно обозначало и „здорово“ и „расскажи, что нового“. Мой конвоир Ванька неизменно отвечал:

— Сох *), — а иногда более общительно добавлял:

— Сох, дагор! **).

После такого красноречивого разговора якут пытливо спрашивал:

— Таба бар? ***) — и подставлял ладонь.

Мы ему отсыпали махорки, он набивал трубку и удовлетворенный скрывался в тайге. Якуты — типичные лесные жители. Небольшого роста, коренастые, с искривленными от верховой езды ногами. Широкими скулами, узкими раскосыми глазами и шапкой черных жестких волос, — они напоминают монголов. Все якуты — охотники и скотоводы и всю жизнь проводят в лесу. Одеты якуты в куртки на беличьем меху, беличьи шапки. На ногах „торбаза“, род кожаного чулка. По лесу якуты ступают мягко, неслышно, так что ни одна ветка не зашуршит под их ногами. Несмотря на то, что почти все якуты считаются

*) Нечего говорить.

**) Нечего говорить, товарищ.

***) Табак есть.

(да и сами они себя считают) христианами, они еще сохраняют языческие обряды. В некоторых юртах под изображением Николая Мирликийского, которого они очень чтут, стоят деревянные божки с жертвенниками. Крестили якутов миссионеры. Они приезжали в улусы, якутские деревни, собирали сход, раздавали дешевые подарки в виде ленточек, бус, пуговиц, ножей и стращали якутов адом и чертями. Якуты слушали, перемигивались хитрыми, раскосыми глазами и, рассматривая подарки, говорили миссионеру:

— Ты учугей человек. И бог твой учугей и вера твоя учугей *).

Обрадованный миссионер призывал якутов немедленно креститься, но они упрямо качали головами и твердили:

— Подумать надо. Подумаем, а ты опять приезжай.

Миссионер снова приезжал, раздавал подарки, и якуты его хвалили:

— Учугей человек, и вера и бог твои тоже учугей.

— Ну, что же,— надумали креститься? — спрашивал миссионер.

— Надумали, да не совсем. Надо мало-мало еще подумать. Подумаем, а ты опять приезжай поскорее.

На третий раз, получив подарки, якуты заявляли миссионеру:

— Совсем надумали: креститься будем. Только вот теперь вода холодная стала, подождать надо. Ты приезжай поскорее, может быть, потеплеет.

В первую же ночь пути, когда мы с Ванькой вошли на ночлег в юрту, все ее население окружило нас и принялось ощупывать мои мешки. Седой старик, хозяин юрты, задал неизменный вопрос

*) Учугей — хороший.

— Табак бар?—и протянул сложенную лодочкой ладонь.

Стоило мне только вынуть кисет и отсыпать старику махорки, как все его родственники и многочисленное потомство, чуть ли не до грудных младенцев и столетних старух, потянулись ко мне за табаком.

Когда кисет стал безнадежно пуст, старик задал следующий вопрос:

— Сахар бар? — и сахар погиб среди жадно столпившихся якутов.

Сама юрта была тоже любопытна. Два противоположных ряда жердей, слегка наклоненных друг к другу, переплетены сучьями и ветками и обмазаны глиной. Боковые стены и плоский потолок строятся таким же образом. Вся юрта делится на две половины, разделенные тонкой перегородкой. В меньшей стоит глиняный камелек с прямым дымоходом и живут люди и собаки. В большой помещается скот. Запах давно неубираемого навоза убивал во всей юрте все остальные запахи. Должно быть, якуты никогда не мылись и почти не снимали с себя меховых шкур. Ложась спать в подобие деревянных ящиков, они раздевались донага и влезали в меховой мешок, стягивающийся сыромятным ремешком у горла. В этих же ящиках, на той же соломе, рядом с людьми, спали многочисленные собаки. Блохи и невероятная грязь были неизбежны в каждой юрте.

В улусах встречались деревянные дома. В них жили богатые якуты, владевшие стадами в несколько сот голов. Такие якуты почтительно назывались „тайонами", князьями.

В Амге мои попутчики остались на постоянное жительство. Мне же, в сопровождении конвоира Ваньки, предстоял путь около 25 верст, без дороги, даже без троп. Направление нужно было искать по солнцу и итти по абсолютно безлюдному месту.

Так как в Амге хлеб летом вымерз, я нигде перед отправкой в дорогу не мог ни купить, ни достать хлеба. Выручил меня якут Брусенин,— культурный человек, уделивший мне из своего пайка пять фунтов хлеба.

До первого ночлега итти пришлось вдоль берега Амги, впадающей в Алдан. Через 12 верст пути мы набрели на юрту поляка, ссыльного из уголовных. С ним жила дочь и зять, тоже уголовные. Поляк был уже старик, с длинной седой бородой, еще красивый человек. Отец его был сослан в Сибирь за польское восстание, и он мальчиком совершил с отцом далекий и трудный путь.

После смерти отца он пробрался в Восточную Сибирь и где-то, в Иркутске или Енисейске, совершил уголовное преступление, отбыл каторгу и, наконец, попал в ссылку, в которой прожил уже 20 лет.

Поляк жил очень зажиточно, и у него было много скота, коров и лошадей. По его словам, ему приходилось сражаться с нападавшими на него из-за покосов якутами, и он хвастливо говорил, что отправил на тот свет не одного якута. В глазах поляка бегали странные огоньки, и я не очень удивился, когда он предложил мне во время переправы выбросить моего конвоира в воду и утопить его.

За лошадь Ваньки он предлагал мне заплатить „хорошие деньги“ и уговаривал остаться жить у него. Решив, по выражению моего лица, что меня не устраивает такая комбинация, поляк предложил мне:

— А то отнимите у него в лесу берданку и прихлопните. Вернетесь ко мне с лошадью, я вам заплачу. Жить будем вместе. Итти дальше не советую...

— Я не занимаюсь убийствами. Я — политический. А к месту ссылки все же пойду.

Поляк посмотрел на меня, как на безнадежно-глупого человека, не умеющего понять простую, очевидную выгоду. В дорогу он напутствовал довольно равнодушно:

— Что ж, идите. Все равно не дойдете,— медведи загрызут.

За перевоз через Амгу он взял рубль, но зато подарил мне фунт масла.

Его дочь, полуякутка, странное, молчаливое и уродливое существо, выглядела совсем диким, забитым, но непокорным лесным зверем...

С половины дня пошел мокрый, липкий снег. Мхи, ели, камни,— все покрылось белой пеленой. Тайга стала ровной, гладкой. Замело все тропы, и мы шли наугад, по колено в снегу.

Лошадь, настороживая уши и храпя, осторожно ставила копыта и проваливалась между расщелинами камней. Мы несколько часов кряду плутали, падали, искали направление и, усталые и измученные, наконец, убедились в том, что дорога потеряна. У лошади тяжело подымались бока, и от нее, как от нас, шел пар.

Ванька безнадежно оглядывался по сторонам. Вдруг потянуло дымком; нас подбодрила мысль, что недалеко где-то в лесу есть люди, что нас ждет тепло и уют, возможность обогреться и обсушиться.

Дымок шел из шалаша, в котором сидели якуты с проваленными носами, сифилитики. Они косили сено на замерзшем болоте и теперь, сидя у костра, отдыхали и кипятили чай в котелке. Мы отказались выпить с ними их кирпичный чай и пошли искать юрту, которая, по словам якутов, была в 13 верстах. Они сомневались, захотим ли мы ночевать в юрте, так как там покойница, и смотрели на нас с сожалением, когда мы тронулись дальше. Вечерело. В сгущающихся сумерках валил липкими хлопья-

ми мокрый снег, не переставая. Под хмурым, грязно-серым небом, в сетке мелькающего и кружащегося снега тайга принимала фантастические, жуткие очертания. Ванька шел впереди, наугад, вытягивая вперед шею и таща за собой лошадь. Мы попрежнему проваливались в сугробы снега и промокли. Мороз начал усиливаться. Медленно, среди мертвой тишины, в тайге наступила ночь.

Неясным силуэтом впереди меня маячил зад беспрерывно проваливающейся лошади, а Ванька казался сном, бредом. На открытых полянах он подходил к одиноко стоявшему дереву, ощупывал его и шел дальше в темноту. Уже прошло несколько часов с тех пор как мы отошли от шалаша, а юрты все еще не было видно. Мы с трудом пробрались сквозь мелкую поросль; мороз обледенил нашу одежду, и оцепенение, сладкая дрема, постепенно овладевали всем телом. Хотелось лечь в снег и уснуть. Мы брели, спотыкаясь и засыпая. Мороз охватывал тело все сильнее и, не выдержав, Ванька остановился и заплакал.

Всхлипывая, он причитал над собой:

— Ой, замерзну, умру такой молодой... Совсем замерзну...

И вдруг закричал, завопил, захлебываясь звериным голосом, полным тоски, смертельного ужаса. И так же неожиданно, где-то вдалеке, ответил неясный, еле слышный голос якутки. Оставив лошадь и меня, Ванька бросился сквозь поросль на звук. Затихли его шаги, и я остался один. Прошло полчаса, час. Снег попрежнему валил густыми хлопьями. Мороз крепчал, холод леденил кровь: я чувствовал, что замерзаю, а Ваньки все еще не было. Наконец где-то зашуршали ветки и из темноты послышался радостный голос:

— Правильно идем. До юрты, где мертвая, немного осталось. Там в шалаше якуты сидят, сено косить пришли. Говорят, правильно идем.

Мы медленно двинулись вперед. У небольшого ручья послышался храп чьей-то оседланной и привязанной к дереву лошади. Я так изнемог, что решил сесть на эту лошадь в расчете, что она побежит к дому, и мы скорее очутимся в тепле. Действительно, лошадь быстро побежала, и через три версты мы услышали лай собак. Лошадь, прибавила шагу, и среди мрака над невидимой юртой взлетел кверху сноп огненных искр из камелька. Я сошел с лошади и пустил ее. Она заржала и бросилась к юрте. Там нас ждало благодатное тепло,— жарко натопленный камелек и ночлег.

В юрте нас обдало ужасным зловонием. Перебегающий огонь камелька выхватил из темноты силуэты неподвижно сидящих, угрюмых якут. Лица у всех были суровы. Никто не встал, никто не спросил: „Табак бар?“ Никто не ответил даже на Ванькино приветствие. Тошнотворное зловоние заставляло предполагать, что мертвец где-нибудь близко. Но старуха еще не умерла, хотя якуты и считали ее уже мертвой. Уходить из юрты нам не хотелось. В ней было так тепло, а над камельком в котелках булькала кипящая вода, и аппетитно тянуло запахом вареных зайцев. Вдруг дверь какого-то чулана стремительно распахнулась, и в юрту вбежала совершенно обнаженная, иссохшая как мумия старуха. Ее седые волосы грязными, спутанными космами торчали во все стороны, а глаза горели диким огнем безумия. Протянув тощие, скорченные руки над котлами, в которых кипели зайцы, старуха затянула ужасную песнь, более похожую на вой, и принялась танцовать. В мелькающем огне камелька пляшущая фигура исступленной и умирающей старухи действительно

напоминала бесовский шабаш. Якуты сидели молча, не двигаясь, поджав под себя ноги и исподлобья наблюдая за движениями сумасшедшей. Испуганный Ванька прошептал мне на ухо:

— Дух за ней пришел... В ней дьявол, дьявольская сила... Теперь она все равно что мертвая: обязательно помереть должна...

Старуха кружилась и подскакивала, не обращая ни на кого внимания, никого не замечая. Ее глаза смотрели куда-то вдаль, как будто за стенами юрты она видела то, чего не могли видеть остальные.

Ее песнь, то радостная и ликующая, то жалобная и тоскливая, как вой голодного волка, населяла юрту таинственными призраками, и якуты боязливо тряслись в темноте. Наконец, пена покрыла иссохшие губы сумасшедшей, и она грохнулась на-земь. Но никто не подошел к ней, пока она сама не очнулась и, бормоча, скрылась так же быстро, как и появилась. Старик-якут, хозяин юрты, тихо вздохнул и подошел к камельку снимать зайцев. Вся семья уселась за стол, и мы последовали их примеру. Хозяин разорвал руками зайцев на части и оделил всех кусками. В виде особого почета, хозяин усадил меня под иконами и дал половину зайца,— заднюю часть. Я не решился достать хлеб и разделить между всеми, так как мне предстояла еще долгая дорога.

Сваренного без соли зайца я с'ел с аппетитом, но зловоние было до того нестерпимо, что меня стошнило, еле успел добежать до двери... Я предпочел бы остаться в поле, возле юрты и жевать хлеб, нежели возвращаться. Но усталость взяла свое, и мне мучительно захотелось уснуть. Пришлось возвратиться в юрту. Там старуха снова плясала у потухающего огня, но никто не обращал на нее внимания. Все спали. Попытался уснуть и я, но зловоние

и причитания не дали хоть на несколько минут сомкнуть глаза. Едва забрезжил рассвет, я разбудил Ваньку, и мы тронулись дальше.

Накануне мы сбились с пути и отошли от него верст за двадцать.

Теперь Ванька хотел наверстать потерянное, и мы шли так быстро, что еще до полного рассвета попали в другую юрту. Ванька сказал хозяевам несколько слов по-якутски, и якуты, поклонившись мне в пояс, поставили самовар и нажарили карасей. Я не понимал причин такого приема, а Ванька, в ответ на мои расспросы, только ухмылялся.

Ребята из этой юрты с'ели мое мыло. Я позабыл его после умывания, а когда вспомнил и вышел во двор, от мыла остались жалкие остатки. За то якутята были в алой мыльной пене. Алый цвет мыла, должно быть, их и соблазнил.

Верст за шестьдесят до Петропавловского я увидел на вырубленной и заросшей порослью полянке тайги следы кирпичных построек. Оказалось, что много лет тому назад сюда были сосланы на поселение скопцы и духоборы. Но в тайге, где водились только зайцы и медведи, промерзшая земля не родила. Да и земли было мало. Вокруг стояли непроходимые болота, в которых гибли люди и скот. Под мхами зыбкая почва тряслась и дрожала. Ржавая вода из болотных луж была причиной эпидемических заболеваний. Носившаяся в тайге тучами мошкара заедала людей и загоняла скот в трясины.

Сектанты боролись со всеми невзгодами больше года, а потом переселились к берегам Алдана, в страшную глушь.

Там они основали несколько селений и в том числе Петропавловское.

На следующем этапе, верстах в тридцати от Петропавловского, мы встретили в юрте односельца Ваньки, молодого русского парня лет 25. Он по-якутски долго подшучивал над Ванькой, а потом обратился ко мне:

— Знаете, почему якуты вас так угощают?

— Нет, не знаю.

— Он их обманывает. Говорит якутам, что вы „агабыт", поп по-ихнему. Вот они вам и оказывают почтение.

— Ну, как же тебе не стыдно, Ванька — обратился я к своему конвоиру. — Ведь вышло, будто я обманывал.

— Ничего! А если бы я не сказал, что вы „агабыт", нас бы и вовсе не кормили. И в юрту не пустили бы спать. Такой здесь народ. Да я и не выдумывал. Они увидели, что на вас бурка, вот и подумали — поп. Меня спросили, а я только сказал — да.

Впрочем, оправдывался Ванька вяло, он был расстроен. Парень наговорил ему, будто бы его жена сбежала. Ванька поверил, заволновался и, несмотря на ночь, решил ехать дальше. Я не согласился. Он побоялся ехать один, всю ночь не спал и на рассвете разбудил меня.

Якуты дали ему еще одну лошадь и пару маленьких саней, вроде русских салазок. Лошади быстро понесли по кочкарнику. Вдруг Ванькина лошадь, которую он купил в Якутске, понесла и, сломав оглоблю, легла на землю. Лошадь оказалась с норовом, и в ожидании отцовской взбучки Ванька еще больше загрустил. Несмотря на то, что нам пришлось двигаться дальше пешком, мы шли так быстро, что уже к утру были в Петропавловском. Там мы зашли к Ванькиному отцу. Случайно к нему зашел местный попик, маленький и седенький. Он стал расспрашивать меня о войне, о которой в Петропавловском имели очень смутное понятие. Оказалось, что попик совсем

забыл русскую речь и даже в церкви служит по-якутски. Мы долго говорили, но никто из нас не понял друг друга.

В Петропавловском помощник старшины быстро „принял“ мои бумаги и считал процедуру оконченной. Тогда я потребовал указать мне квартиру и место, где можно найти работу. Бедный представитель власти был в большом затруднении. Когда я пообещал остаться в его избе и питаться его картошкой, сваленной в углу, „начальство“ заволновалось и решило сплавить меня. Для разрешения столь трудного вопроса он отправил меня к старшине, который жил на другом берегу, в селе Троицком. Старшины там не оказалось, а писарь представился ссыльным из уголовных. Он был женат на старухе-якутке и жил в юрте. Обрадовавшись моему приходу, он накормил меня картофелем и уложил спать, оставив все разговоры до утра. На следующий день, едва я проснулся, он обрадовал меня известием, что для меня есть работа „у одного человека, тоже из ссыльных“. Этот „человек“, из уголовных, отрекомендовался „физиком-техником“ и сразу принял меня в компаньоны. Я выразил предположение, что не смогу ему быть полезным, так как ни в физике, ни в технике ничего не понимаю и вряд ли смогу помочь в таком сложном предприятии. Но „физик-техник“ развеял все мои сомнения в сложности производимых им работ. Из горна он вынул кусочек расплавленного металла, вылил его в форму, сжал в тиски и жестом фокусника показал изготовленный им рубль.

— Это что же, — фальшивая монета? — удивленно спросил я.

— Как кто называет,—обиделся „физик-техник“.— А по-моему, если царь монету выпускает, почему же я не могу?

— Да, но вы обманываете якутов. Вы вместо серебра даете им олово.

— Ну, что же, и царь с них налоги берет. Большого убытку якутам не будет. Вот рубль есть, на нас двоих сегодня и хватит. Я за большим не гонюсь...

— Мне такая работа не подходит...

— Как знаете...

„Физик-техник" окончательно обиделся, и мы распрощались очень холодно. Гостеприимный писарь тоже не мог понять, почему я отказался от такой выгодной работы, но пообещал найти другую, более подходящую: Часа через полтора он пришел с каким-то рослым человеком и представил меня:

— Вот вам работник. Что, нравится?

Работодателю я понравился, и он изложил условия работы: варить самогон на острове столько часов, сколько понадобится. Плата — два рубля в день. Я отказался. Владелец самогонного „завода" удивился.

— Что, разве мало? Да ведь работы немного. И сыты и пьяны будете. И два рубля в сутки. Чего же лучше...

Писарь и вовсе рассердился на меня. Мы даже поспорили, но, очевидно, ему надоело возиться со мной, и он изготовил мне удостоверение с фальшивыми подписями. В этом удостоверении, за двумя печатями, говорилось, что я направляюсь в Якутск с ходатайством о перемене места жительства. Я стал собираться в дорогу.

* * *

За сотни верст от всякого жилья, заброшенное в тайгу, селение Петропавловское произвело на меня своеобразное впечатление. Казалось, будто его жители долго блуждали по тайге и тундре, окончательно заблудились и, наконец, осели на место.

Это был забытый, отрезанный от всего мира медвежий угол. С близлежащего поста Аян пароход из Якутска приходил два раза в год — в июне и в июле, и это было единственным средством сообщения во весь летний период. С пароходом раз в год приезжал правительственный чиновник. Он собирал налоги и творил суд и расправу.

В остальное время в Петропавловском не знали, что такое полиция, и счастливые обитатели селения управлялись по своим неписанным законам.

Зимой в Петропавловское можно было пробраться или верхом, или в маленьких саночках. Климат здесь был на много мягче, нежели в Якутске. По берегам Алдана, достигавшего трех верст в ширину, на наносном черноземе, росли тальник, смородина, черемуха, рябина, даже тополь. Хлеб родился хороший и не вымерзал во время налива зерна, а капуста и картофель родились крупными и вкусными. Урожаи всегда были хороши. Вокруг теснились громады гор Приамурья, стремительно неслась бурная река Майя. Старожилы говорили, что было время, когда в Петропавловском бабы коромыслами били соболей. Коренное население — сектанты ушли из Петропавловского после амнистии 1905 года, когда им разрешили выехать и поселиться в Якутске и в семи верстах от Якутска, в селе Маруха. Они за бесценок распродали свое хозяйство— просторные дома с надворными постройками, распаханные и выкорчеванные поля. Сто пятьдесят дворов скупили местные купцы: татарин Галимбаров и Волков. Один из них предлагал мне дом с надворными постройками в две связи за 150 рублей Он сам купил его за 25 рублей Из сектантов в Петропавловском осталась только одна семья, зажиточная и замкнутая. Остальное население—пришлый, случайный люд. Они производили странное впечатление,

как и само село. Днем оно было мертво. Вечером начиналась музыка, пьянка и песни. Говорили, будто в Петропавловском занимались грабежами и убийствами старателей с золотых приисков Охотска.

На самом Алдане в ту пору о золоте никто еще не говорил и только „физик-техник" мечтал накопить денег и пойти в тайгу искать золото.

Все жители Петропавловского, даже русские, говорили по-якутски, и русский язык помнили очень плохо.

До моего прихода в Петропавловске имели очень смутное представление о том, что такое политический ссыльный.

Глава XI

ПОБЕГ В ЯКУТСК

По старым следам совместного странствования с конвоиром Ванькой я пробирался из Петропавловского в Якутск. Снег давно уже не выпадал, и следы были ясно видны. Тундра промерзла, и итти было на много легче, нежели в первый раз. В тайге царила тишина, и только снег хрустел под ногами. Мой груз был невелик: немного картофеля, сахар, табак и котелок. В Петропавловском мне не советовали итти, пугая медведями, которые, из-за неурожая ягод в Приамурье и на Камчатке, не легли в берлоги и перешли на Алдан. Мне говорили также, что якуты, приняв меня за приискателя с Охотска, могут убить и ограбить.

Медведей я не встретил, якуты оказались не так страшны, а самой серьезной угрозой для меня оказался мороз.

Уже 1 октября, когда я вышел из Петропавловска, стоял мороз в 40 градусов, и с каждым днем пути холода все усиливались. На мне были надеты холодные сапоги и серая, из тонкого арестантского сукна, куртка. Бурка, которой снабдил меня Ем. Ярославский, цеплялась за кусты и ветки, и поэтому ее пришлось снять и нести в мешке. За время пути холод доставлял мне много мучений. Кроме того, со мной не было Ваньки, который

так хорошо владел якутским языком. День за днем я шел по тайге голодным и к вечеру с трудом находил негостеприимный ночлег. В особенности мне запомнились две ночи.

В первую ночь я попал в юрту, где кроме голодной якутки и ребятишек, никого не было. У якутки не было даже молока, и она выпросила у меня для тощих ребят картофель.

Ночью меня разбудили вошедшие в юрту пять молодых охотников-якутов. Все они были вооружены и, весело сварив саломату, принялись играть в карты. Кто-то из них заметил, что я лежу в юрте и, после переговоров с хозяйкой, стали меня будить:

— Вставай в карты играть.

Решив, что они меня принимают за приискателя, я ответил, напрягая память, чтобы подобрать якутские слова.

— Сох, деньги сох *).

Якуты не верили и, обступив меня тесным кольцом, недоверчиво твердили:

— Харчи бар **), ты с приисков идешь.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мне удалось растолковать им, что я — ссыльный, и что меня „послал сюда царь".

Накануне второго, тоже памятного, ночлега я шел по тундре, поеживаясь от холода и мечтая о с'естном. Голоден я был необычайно.

В момент наиболее ожесточенной схватки голода, я увидел на болотце большую стаю уток. Они сидели, не шевелясь, и я решил, что это отставшие птицы, и что сама судьба позаботилась о моем пропитании и заготовила

*) Нет денег.

**) У тебя есть деньги.

мне пищу на много дней. Наступали сумерки. Птицы сидели на месте, как зачарованные. С тысячью предосторожностей, боясь спугнуть дичь, я сломал большую палку, чтобы перебить уток и стал осторожно подходить к болотцу. Вдруг мысль о том, что болотце замерзло и утки стянуты льдом, заставила меня забыть о предосторожностях и опрометью броситься к уткам. Я замахнулся было палкой и только тогда, когда рука готова была опуститься, увидал, что я принял за стаю уток просто манекены, очень искусно сделанные якутами из разноцветного мха, земли и сучьев.

Разочарование было очень велико, и я торопился итти побыстрее, чтобы хоть на ночлеге достать чего-нибудь с'естного.

Одинокая якутка настойчиво гнала меня из юрты, где я намерен был остаться на ночлег. Я в изнеможении опустился на лавку, а якутка выбежала и появилась только часа через два с каким-то стариком на лошади. Он хотел добиться моего ухода из юрты, а я показывал ему знаками, что итти дальше не могу и что не причиню якутке зла. Якут уехал, а якутка, ложась спать, положила возле себя и топор и заряженное ружье. Поесть на этом ночлеге мне так и не удалось. Насытился только чаем... Пока якутка ходила за стариком, ее ребята намешали в два котла с молоком столько золы, что молоко пришлось вылить.

На закате четвертого дня пути сквозь поросль в быстро наступающих сумерках фонтаном засверкали искры из камелька юрты. Кроме якутов, там в тепле отходил от морозов старик лет шестидесяти. Он шел в одной рваной курточке с Охотских приисков до Амги и неожиданно у меня нашелся попутчик. После долгих дней одинокого странствования по безлюдной тундре я был рад старику. Это

был старый бродяжка, охотник, зверолов и приискатель, 30 лет проведший в тайге и тундре. Он прекрасно ориентировался среди кочкарников и поросли, чутьем находил верную дорогу, хорошо говорил по-якутски, знал все обычаи якутов и умел достать у них все, что ему было нужно. У него была своеобразная психика таежного человека, и его жесткие, холодные глаза говорили о том, что если ему понадобится, он убьет человека так же просто, как зверя. Я не сомневался, что если старика прельстят мои сапоги, он, не задумываясь убьет, меня и сбросит в болото. Но, очевидно, ничто на мне его не прельщало, и мы шли дружно и весело. Путешествуя по совершенно безлюдному месту со старым бродяжкой, я не испытывал страха, и даже мысль об этом не приходила мне в голову.

По дороге, со старческой болтливостью, бродяжка рассказывал великое множество историй. Его последнее приключение было такое:

Ему вздумалось из Охотска пробраться в Якутск. С женой, взрослой дочерью и товарищем он сколотил плот и спустил его на воду у верховьев бурной реки Майи, впадающей в Алдан. Старик надеялся пройти Майю, спуститься по Алдану и попасть на Лену.

В стремительной воде порогов Майи плот перевернуло. Все, что было на нем, и люди и скарб, — все пошло ко дну.

Один старик выплыл, ухватился за корягу и, полуголый, выполз на берег. Должно быть, машинально он продолжал путь на Якутск. По пути его нагнали сильные морозы. Кто-то сжалился над стариком и подарил ему старую и рваную одежду. И хотя это одеяние, — не то халат, не то куртка, — служило плохой защитой от холода, старик бодро шагал и только изредка, чтобы согреться, бежал изо всех сил.

Он шел впереди меня очень уверенно, изредка оглядываясь по сторонам. Ночь уже спускалась, а жилья все еще не было видно. Старик начал разделять мою тревогу, и мы взобрались на гору. Оттуда, вдалеке, был виден сноп искр. Ободрившись, мы быстро дошли до юрты. Против обыкновения, возле жилья собаки не приветствовали нас заливчатым лаем. В самой юрте было пусто. Только на лавке под образами, обряженная к похоронам, лежала мертвая старуха - якутка. Старик об'яснил, что якуты считают ее ведьмой и, боясь остаться с ней на ночь, до утра ушли в соседнюю юрту.

Старуха лежала в юрте не первые сутки, и сильный трупный запах был нестерпим. Старик подошел к трупу, взял его в охапку вместе с подстилкой, и вынес во двор. Возясь с трупом, он как будто уговаривал старуху:

— Ну, старый чорт, уступай мне место. Ты умерла, а я еще жив. Мне спать надо.

В об'ятиях старика голова трупа свисала и качалась, как будто поддакивала. Возможно, старик и сам верил, что выносит из юрты ведьму. Справившись с ней, он проветрил юрту, вскипятил чай, и мы крепко уснули. Рано, на рассвете, он разбудил меня, боясь, чтобы якуты не застали нас в юрте. По дороге старик посмеивался, довольный при мысли, что якуты, вернувшись домой и увидав старуху на снегу, без сомнения, уверятся, что она колдунья, и что дьявол носил ее ночью на шабаш.

В Амге мы расстались. В. Брусенин куда-то выехал из села. Я переночевал у ссыльного Ершова и на утро пошел дальше.

Мороз усиливался с каждым часом, дошел до 40 градусов и был так силен, что дыхание спирало. С каждой минутой пути я цепенел все больше и вынужден был не итти, а бежать. Чтобы хоть немного согреться, я заходил

в каждую юрту. Но теперь со мной не было старика, который умел так виртуозно доставать у якутов все необходимое, и я изнемогал от голода. Последние версты перед Якутском пришлось бежать во всю прыть. Ноги ступали, как деревянные, и я их совсем не чувствовал. Щеки и руки пылали, как в огне.

Наконец, когда я добрел до Якутска и пришел на квартиру к Ем. Ярославскому, у меня подошвы ног были в пузырях, кровью налитые. Щеки, нос и руки были отморожены.

Длительная голодовка и сильное напряжение расстроили нервную систему, и еще много дней после прихода в Якутск руки тряслись и прыгали так сильно, что я не мог написать даже своей фамилии.

Ем. Ярославский заведывал областным музеем в Якутске и получал за это 25 рублей в месяц. На эти деньги ему приходилось существовать с женой и ребенком, да еще содержать и меня.

Это и нелегальность моего положения тяготило меня. Кто-нибудь мог донести полиции, и Ярославского судили бы за укрывательство. После нескольких дней колебаний я отправился к полицмейстеру Рубцову и прямо заявил, что в Петропавловское больше не пойду и что согласен лучше сидеть в тюрьме, нежели возвращаться назад. Рубцов немного подумал, справился, у кого я живу, и написал на удостоверении, выданном писарем Петропавловского:

„Временно разрешается проживать во дворе музея".

Таким образом мое существование в Якутске было узаконено, хотя, по смыслу резолюции полицмейстера, мне разрешалось жить только во дворе музея. На много хуже дело обстояло с заработком.

Можно было рассчитывать получить работу у скопцов, в селе Марха, в нескольких верстах от Якутска. Но мороз доходил уже до 67 градусов, а теплой одежды у меня не было, и негде было ее достать.

Кроме того, после путешествия по Алдану я настолько ослаб, что о физической работе нечего было и думать. Мысль о том, что я все-таки не могу не стеснять приютивших меня, очень угнетала. Первый заработок я получил через посредство Ярославского.

Он поручил мне оштукатурить мокрым снегом бревенчатые стены квартиры музея. В сильные морозы этот способ сохранения тепла широко практиковался в Якутске. За эту работу, которая длилась несколько дней, я получил 6 рублей.

Вскоре я случайно познакомился с ссыльным Кукулашвили, таким же необеспеченным и безработным, как и я. Долгими зимними вечерами мы измышляли средства найти заработок. Однажды неожиданная блестящая идея осенила нас. В этом году в окрестностях Якутска вымерз весь хлеб. Началась спекуляция. Частные торговцы быстро подняли цены, и фунт черного хлеба стоил 14 коп.

Между тем, у городского самоуправления имелись запасы хорошего хлеба. Мы решили организовать городскую хлебопекарню, чтобы снабжать население дешевым хлебом по карточной системе. В городском самоуправлении наше предложение поддержал политссыльный В. Н. Соловьев, имевший влияние на думцев. Они постановили поручить ему организацию пекарни, но никаких средств на открытие пекарни не отпустили. Снова пришлось прибегнуть к помощи Ярославского. Он и Соловьев собрали среди знакомых рублей шестьдесят На эти деньги мы купили минимальное оборудование и сняли старый, полуразвалившийся дом.

Среди уголовных нашелся хороший пекарь, ухитрявшийся из мороженой муки выпекать вкусный хлеб. Пекарня выпускала в день до 40 пудов хлеба, настолько дешевого и хорошего, что спекуляция была убита. Наша пекарня не только обеспечивала все бедное население Якутска, но и кормила голодную ссылку. Пекарня процветала всю зиму, несмотря на то, что пекарь запьянствовал, и нам самим пришлось его заменять. За работу в пекарне мы получали жалованье, по 30 рублей в месяц на человека.

Жизнь ссыльных во многом разнилась от места первой ссылки в Тутуре. Там у ссыльных была возможность найти работу и существовать более или менее обеспеченно. В Якутске этой возможности не было. Только случайно можно было найти работу или „изобрести" ее.

Небольшой процент ссыльных служил в торговых фирмах. Получая хорошее вознаграждение и не желая помогать другим ссыльным, эти люди жили очень обособленно и постепенно порвали с ссылкой.

Редкие из ссыльных жили коммунами, что было очень принято в Тутуре. Партийные группировки жили очень замкнутой жизнью.

Якутск был настолько оторван, изолирован от центра, что почта приходила раз в месяц, а иногда запаздывала еще на неделю-две. Вести с воли приходили редко. Все это делало жизнь в Якутске для ссыльных необычайно тягостной.

Глава XII

РЕВОЛЮЦИЯ В ЯКУТСКЕ

Полная изолированность, разобщенность от какой бы то ни было живой работы, жизнь без интересов, помимо забот о заработке, — делали дальнейшее прозябание в Якутске невозможным и тягостным, доводили до отчаяния.

К зиме 1916 года я твердо решил бежать из ссылки.

Пекарню пришлось ликвидировать еще осенью, и, кроме долгов, у меня ничего не было. Я все же решил уйти из Якутска, хотя бы без гроша. План был таков: пробраться к Охотску, проработать несколько времени на золотых приисках и оттуда попасть либо на один из заграничных пароходов, либо через Камчатку ехать в Японию.

Путь от Якутска до Охотска тянулся по Охотскому тракту на протяжении более тысячи верст и был совершенно безлюден и пустынен. На расстоянии каждых 60 верст стояли почтовые станки, т.-е. попросту нежилые срубы для ночлега.

Дорога шла тундрой, по которой рыскали стаи голодных волков и кружила пурга. Этот путь я мог пройти не раньше, чем месяца через два. Конечно, по нежилому тракту негде было достать продовольствия, и запасы его я предполагал тащить за собой на санях.

Такой план могло создать только доведенное до отчаяния больное воображение, потому что за неблагоприятный исход путешествия было девяносто процентов. Но в то время мне казалось, что другого выхода нет. В декабре я написал губернатору заявление о разрешении переселиться в Охотск. В первых числах февраля 1917 г. полицейское управление Якутска уведомило, что губернатор разрешает мне выезд в Охотск, и я начал собирать для дороги запасы продовольствия и теплую одежду. Товарищи по ссылке долго отговаривали меня от затеи и под конец стали считать меня безнадежным самоубийцей. Накануне ухода из Якутска я собрался насладиться благами культурной жизни Якутска и пойти в баню.

Там были только номера, стоившие 75 коп., и ссыльные, экономии ради, ходили в один номер втроем и вчетвером.

При сорокаградусном морозе я побрел по Якутску искать компаньонов по бане. Только я раскрыл двери комнаты своих товарищей, один из них, радостный и возбужденный, стиснул меня в об'ятиях, закружил и начал теребить:

— Кричи ура, скорее кричи ура!.. Скажу новость!..

— Да в чем дело, наконец?!

— Нет, сначала кричи ура!..

— Ну, ура... Только отпусти.

— На, читай!..

Товарищ протянул мне телеграмму за подписью Чхеидзе:

— „Петроград и Кронштадт во власти рабочих и восставших солдат. Восставшими захвачены правительственные здания. Вся Россия поднимает знамя революции“...

Я несколько раз перечел телеграмму и никак не мог поверить смыслу таких простых и ясных слов. Неужели

революция, казавшаяся в ссылке такой далекой, уже свершилась? Неужели кончилась ссылка, и завтрашнее путешествие по тундре на Охотск—только бред?..

И радость, граничащая с безумием, охватила меня, так же как и товарищей сообщивших мне потрясающее известие.

Мы говорили громко, не слушая и перебивая друг друга, смеялись и кричали. Нам казалось, что нужно куда-то торопиться, куда-то бежать, как будто нас ждет спешная, важная и неотложная работа.

В бане я торопился чрезмерно: то окачивал себя ледяной водой, то обжигался кипятком и спешил, спешил, сам не зная куда.

Я прибежал на квартиру и закричал во все горло:

— Революция!.. Революция!..

Квартирный хозяин, тоже ссыльный, занявшийся в Якутске портняжеством, смотрел на меня широко раскрытыми глазами, а его жена, якутка, испуганно забормотала:

— Ты с ума сошел... С ума сошел...

Чтобы убедить их, я выбросил на снег все свои запасы продовольствия. Хозяин, не говоря ни слова, с тем же обалделым выражением лица, оделся и бросился бежать. Через полчаса он вернулся с номером газеты, издаваемой в Якутске ссыльными.

В газете было напечатано официальное сообщение о революции в Петрограде, Кронштадте и о начале революционного движения в ряде других городов России.

Революция в Якутске началась с расклейки по городу воззваний, которыми граждане города Якутска приглашались на митинг в городскую думу. Несмотря на то, что воззвание собрало всю ссылку, митинг прошел очень вяло. Не только обыватели, но и часть ссыльных отнеслась к известию о революции со сдержанной недоверчивостью

и протестовала против пения марсельезы, усматривая в этом несвоевременный вызов полиции и предполагая, что это вызовет неминуемое столкновение. На следующий день митинг велся более энергично. Была выбрана даже делегация из пяти человек, исключительно ссыльных, для переговоров с якутским губернатором, которому делегаты должны были предложить снять с себя полномочия властителя края и передать их выборному Комитету Общественной Безопасности.

В делегацию общим собранием были избраны: председателем делегации—член Государственной Думы Г. М. Петровский и членами—Ем. Ярославский, Олейников и еще кто-то, фамилии которых теперь не помню.

В виду возможности ареста делегации и насилия над ней, я решил отправиться вместе с делегацией, с таким расчетом, что если последует арест, то немедленно известить об этом общее собрание и призвать к выступлению с оружием.

Мы направились в Областное Управление, где в это время происходило совещание губернатора Тизенгаузена с „именитым" купечеством, чиновниками и полицией.

Никто из делегатов вооружен не был, только у меня случайно оказался какой-то дрянной револьвер, не то смит-вессон, не то лефоше. Позже я убедился, что из этого револьвера нельзя было застрелить даже кошку.

По приходе в Областное Управление нас встретил швейцар. На мой вопрос, где губернатор,— швейцар ответил, что здесь, на заседании. После этого я вынул револьвер и, направив его на швейцара, предложил ему убраться в свое помещение, где я его запер на замок. Висевший телефон я отрезал ножом, дабы не была поднята тревога. Затем делегация направилась в зал заседаний, к губернатору.

Несмотря на то, что многие из заседавших, в особенности полицейские, были вооружены, никто из них не вздумал хоть чем-нибудь выразить свой протест против нашего появления. Только какой-то чиновник в испуге взметнулся с места и хотел выйти. Я заявил ему, что уходить нельзя. Чиновник испуганно прилип к сидению своего стула. Делегаты подошли к Тизенгаузену, и между ним и Петровским начался приблизительно такой диалог:

— Что вам угодно?

— Я член Государственной Думы Петровский и избран гражданами города Якутска, как и вся делегация, для переговоров с вами.

— Очень приятно. Я знаю все.— Тизенгаузен протянул ему руку и предложил сесть.— Об'ясните, в чем дело.

— Цель нашей делегации такова: в виду известных вам событий граждане города Якутска предлагают вам снять с себя полномочия губернатора и передать их Комитету Общественной Безопасности.

Тизенгаузен несколько опешил, но, подумав, продолжал все так же официально любезно.

— Никаких известий из Петрограда я еще не получал, хотя знаю, что власть перешла в руки Государственной Думы. До тех пор, пока я не получу распоряжений от председателя Думы, господина Родзянко, я полномочий с себя не сниму.

— Значит, вы не желаете добровольно пойти навстречу революционным требованиям граждан Якутска?

Тизенгаузен растерянно развел руками:

— Если я соглашусь на ваше предложение и до распоряжений из Петрограда сниму с себя полномочия, то, по закону, я подлежу смертной казни.

На этом Тизенгаузен закончил „аудиенцию". Мы ушли от него не совсем уверенные в том, что нам следует делать дальше.

Петровский и Олейников составили телеграмму на имя министра юстиции Керенского с текстом об отказе Тизенгаузена сложить полномочия. Весь вопрос заключался только в том, как отправить телеграмму, так как ясно было, что на телеграфе ее не примут. Впятером, с одним лефоше, мы решили захватить почтово-телеграфное отделение и добиться отправки телеграммы. Вместе с тем, мы предполагали, что, по распоряжению Тизенгаузена, полиция нас уже ищет, и мы можем быть арестованы в любую минуту.

В несколько приподнятом настроении наша делегация в полном составе пошла на телеграф и перед самой конторой прихватила городового, чтобы он не поднял тревоги. Не знаю, что он подумал, но его глаза были безумны и ужасны, как у человека, приговоренного к смертной казни. Городовой долго хватал нас за руки и бормотал хриплым, испуганным шопотом:

— Родненькие, не убивайте... Голубчики, не убивайте...

Он был вооружен наганом и шашкой, о которых, очевидно, совершенно забыл. Так же как и городовой, испугались при нашем появлении телеграфисты. Дежурный, сидевший у аппарата, все-таки мужественно отказался от отправки телеграммы Керенскому, и только, когда для успокоения его служебной совести кто-то из нас сказал ему:— Я вам приказываю! — аппарат начал отбивать телеграфную дробь. В это время вошел начальник почтово-телеграфной конторы. Его лицо повторило испуг телеграфистов, и он начал невнятно бормотать:

— Господа... Господа... Я ведь всегда шел вам навстречу...—И как наседка бросился к телеграфному аппарату и захныкал:

— Господа, ведь меня за это под суд отдадут... Господа, пожалуйста... Позвольте хоть господину губернатору позвонить...

Петровский сделал верное предположение:

— Вы у него на совещании были?

— Бы-ыл...

— Должно быть, он передал вам телеграмму для отправки?

Начальник конторы сконфузился и замялся.

— Что же молчите? Где телеграмма?

— Во-о... только, ради бога, вы ее у меня силой потребовали...

— Ну да, силой,—брезгливо успокоил его Петровский.

Телеграмма Тизенгаузена была адресована Родзянко и гласила, что к нему „явились пять человек ссыльных во главе с членом Государственной Думы Петровским, предложившие сдать все полномочия со всеми государственными денежными суммами".

Итак, Тизенгаузен желал представить нас чуть ли не экспроприаторами. Посовещавшись, мы заявили начальнику конторы, что разрешаем ему переговорить с губернатором по телефону, но не позволим отправлять телеграмму Тизенгаузена. Начальник конторы хрипло залаял в телефонную трубку и через несколько минут заявил совсем убитым, срывающимся голосом:

— Отправляйте вашу телеграмму... Господин губернатор отказывается от посылки своей телеграммы...

На следующее утро на митинг пришел губернатор. Он попросил слова и торжественно заявил, что он снимает с себя полномочия и передает их Комитету Общественной Безопасности. Судя по речи Тизенгаузена, выходило так, будто он сам ярый либерал и был переведен в Якутск из Вятки за слишком либеральную речь на зем-

ском собрании. В заключение речи Тизенгаузен махнул платочком приведенному с собой оркестру и, подпевая музыкантам, затянул марсельезу...

Идиллический губернатор дошел даже до такого вызова старому, теперь уже не у дел, правительству, что 4 марта, в праздник революции, во время демонстрации, вместе с бывшими когда-то под его начальством ссыльными, пожелал нести красные знамена. Тизенгаузен мечтал пройти даже в Комитет Общественной Безопасности, но идиллия

Рис. 7. „...С первым пароходом я выехал в Россию...“

была нарушена, когда губернатору предложили освободить губернаторский дом, где вместо либерального сатрапа поместились Комитет и Совет. Комиссаром области был назначен Петровский, и для бывших политических ссыльных наступило время деятельной работы. Это был длительный, светлый праздник, прекрасный до того, что не верилось в его действительность. Вести из России

еще больше поднимали дух, и только стремление попасть туда, в пламя революции, томило и тревожило. Но надо было ждать, пока не вскроется Лена.

По счастью, в этом году река вскрылась рано. Опережая недели на две обычный срок, ломкими громадами по освобожденным водам дружно пошел лед.

12 мая, с первым пароходом, я выехал в Россию...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Годы сгладили впечатления ссылки. Дни гражданской войны, война на экономическом фронте,— все это заставило потускнеть то, что так больно переживалось на берегах Лены.

В 1924 и в 1925 годах мне снова пришлось побывать на Лене и проехать тот путь, которым я когда-то ехал в ссылку.

Еще раз я увидел туманы над утренней рекой. Прихотливые ее изгибы,— путь, по которому когда-то так мучительно хотелось вернуться назад в Россию,— все было теперь для меня свободно и открыто. Деревни и села, в которых было пережито так много, быстро проходили одни за другими на протяжении бесконечного, неспешного пути.

Странное чувство охватило меня при виде тех мест, где черный кошмар унижений, мук и молчаливых страданий когда-то давил меня и моих товарищей...

Я где-то читал, что один из народовольцев, уже много лет будучи на свободе, приехал посмотреть место своего прежнего заключения. Камера, в которой он просидел столько лет, была пуста. Он и его жена сели у открытых дверей камеры и молча думали каждый свое...

Первой заплакала жена...

Пустынной мне казалась Лена, точно покинутый дом, с которым связано много пережитого. Все прошлое вставало снова, и воображение ярко рисовало его картины...

Когда-то ссыльные наполняли деревни и села на протяжении всего пути, теперь же Лена казалась мне мертвой и безжизненной. Изредка встречались старые ссыльные, обзаведшиеся хозяйством, семьей и в большинстве случаев отошедшие от партии.

Пустынной казалась Лена...

И, показывая одинокие, заброшенные могилы ссыльных, позабытые всеми среди таежных просторов, крестьяне молча вспоминали ссылку, которая была так дорога для них.

Горечь прошлого, давно пережитого, сменялась у этих забытых могил радостью, что на этом пути уже больше не встретишь партий ссыльных, изнемогших от надругательств, измученных и отчаявшихся...

Среди простора прекрасной реки, где так красивы берега, суровые и величавые, прошлое казалось бредом, жутким кошмаром...

Библиотека
Института Ленина

18572

Цена 1 р. 10 к.

р.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

МОСКВА, Центр, Кузнецкий Мост, 1. ЛЕНИНГРАД, Проспект 25 Октября, 68

ПОЧТОВЫЙ ОТДЕЛ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА, Центр, Моховая ул., д. 24, 3-й книжный
магазин Издательства „Московский рабочий"